

# **БОЛГАРСКАЯ РУСИСТИКА**

---

**2010/3-4**

Орган общества русистов Болгарии

**София, 2010**

***Редакционен съвет:***

доц. д-р Илиана Вladoва, д-р Стояна Почеканска, проф. дфн Петко Троев, доц. д-р Събка Богданова, доц. д-р Стефка Георгиева, доц. д-р Гочо Гочев, проф. дфн Маргарита Каназирска, доц. д-р Валентина Аврамова, доц. д-р Владислав Лесневский

***Международен редакционен съвет:***

проф. Юрий Прохоров (Държавен институт за руски език «А.С.Пушкин», Русия)  
проф. Елена Иванова (Санкт-Петербургски държавен университет, Русия)  
проф. Йенс Херлт (Университет Фрибург, Швейцария)  
д-р Радка Гржибкова (Карловия университет в Прага, Чехия)

***Редакционна колегия:***

доц. д-р Ренета Божанкова (главен редактор), доц. д-р Валерий Занглигер, доц. д-р Римма Спасова, доц. д-р Алла Градинарова, доц. д-р Христо Манолакев

***Отговорни редактори на броя:***

доц. д-р Валерий Занглигер, доц. д-р Алла Градинарова

Списанието се издава с финансовата подкрепа на «Федерация за връзки с Русия и ОНД» и на фондация «Славяни».

ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online)

## СОДЕРЖАНИЕ

### Языкознание

<b>С.Димитрова</b> (Болгария)	Русское слово в общем языкознании .....	5
<b>В.Занглигер</b> (Болгария)	Вариантность и синонимия пословиц .....	12
<b>А.Градинарова</b> (Болгария)	Безличные конструкции с дательным субъекта и предикативом на -о в русском и болгарском языках .....	34
<b>Н.М.Девятова</b> (Россия)	Об образном сравнении и его типологии .....	56
<b>М.В.Румянцева</b> (Казахстан)	Дом в зеркале сравнений русских и казахских писателей .....	65

### Литературоведение

<b>И.Захариева</b> (Болгария)	Акценты беллетризации мемуарного <i>петербургского</i> <i>текста</i> (М.Зенкевич, «Мужицкий сфинкс») .....	72
<b>А.Г.Степанов</b> (Россия)	Японская поэзия и русский примитивизм: об одном эксперименте .....	84
<b>Д.Крыстева</b> (Болгария)	«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкина в контексте неофициальной истории и мифов петербургского царства .....	99

### В помощь преподавателю

<b>Т.Атанасова</b> (Болгария)	Човекът у Толстой между войната и мира .....	113
----------------------------------	--	-----

## Теория перевода

<i>В.А.Вернигорова</i> (Россия)	Осмысление реалии в подлиннике и переводе ..... 126
------------------------------------	---

## Хроника

<i>Общество русистов</i> <i>Болгарии</i>	I Международный симпозиум «Русское слово на Балканах». Шумен (Болгария), 14-17 октября 2010 г. .... 136
<i>Е. Суровцева</i> (Россия)	Мероприятия филологического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, посвященные 150-летию со дня рождения А.П.Чехова.... 138



Вильгельм фон Гумбольдт. Но само понятие всеобщей грамматики существовало до Гумбольдта и было хорошо известно М.В.Ломоносову. Фактически Ломоносовым впервые было сформулировано отличие общего языкознания от частного – называя общую грамматику философским понятием о человеческом слове, Ломоносов называл частную грамматику особой и писал по этому поводу: «особливая, какова российская грамматика, есть знание, как говорить и писать чисто российским языком по лучшему, рассудительному его употреблению» [Ломоносов 1984: 420]. Принципы всеобщей грамматики проявляются гораздо ярче в *Грамматике* А.А.Барсова, а дальше в *Основаниях российской словесности* А.Никольского [Никольский 1807]. Понятия *слово* и *предложение* Никольский объясняет на основе логических категорий. Это напоминает античные и особенно древнегреческие грамматические учения. Но в то же время лингвистическая позиция Никольского может быть определена как закладывание логической основы синтаксиса русского языка. Она же была стимулом к развитию нового логического подхода к языковым явлениям, который уже в начале XIX в. нашел свое наиболее четкое выражение в книге Ивана Степановича Рижского *Введение в круг словесности* [Рижский 1806]. Особо важным представляется тот факт, что Рижский исследовал явления, связанные со специфическим способом выражения мыслей и чувств носителями разных языков. Эти явления получили в теории Гумбольдта название *внутренняя форма языка*.

При внимательном ознакомлении с указанной книгой Рижского можно найти целый ряд рассуждений, которые в переводе на современный язык имеют прямое отношение к тому, что теперь принято называть *картиной мира* и что безусловно связано с *лингвистическим релятивизмом*, например: «Иного народа он (предмет – С.Д.) поражает таким, другого другим качеством... От сего происходит, что понятие разных народов об одной и той же вещи бывают различны в рассуждении: а) точности... б) общности своего действия». Можно только удивляться, что фактически здесь предлагаются количественные критерии к исследованию глагольного действия. Можно также удивляться, что в том же труде говорится об особенностях национального мировоззрения и миропонимания, основанного на том, что у каждого народа имеются свои, свойственные только ему «понятия о тех предметах, которые у него токмо одного находятся» и таким образом составляют «физиономию языка». И можно жалеть, что и мы, славяне, как и вся современная Европа, заговорили и стали заниматься лингвистической относительностью только в послевоенный период, когда познакомились с гипотезой Сепира-Уорфа. Если воздержаться от эмоциональной оценки этого негативного факта, можно и должно согласиться с

Ф.М.Безиным, что «книга Рижского была одной из первых работ в истории русского языкознания, в которой самостоятельно ставятся проблемы общего языкознания» [Безин 1979: 48].

Недостаточное внимание к уникальному творчеству И.С.Рижского в славянском мире не является изолированным фактом. История языкознания, и особенно общего языкознания, изобилует подобными случаями. И как это ни удивительно, примерно такая же судьба настигла и самого создателя общего языкознания, великого Вильгельма фон Гумбольдта. Разница в том, что все же творчество Гумбольдта теперь известно во всем мире, но он недостаточно популярен среди представителей балканского и, в частности, болгарского языкознания. Как бы ни было неприятно признаться, надо отметить, что в Болгарии все еще существуют учебники по общему языкознанию, в которых не упоминается даже имя отца общего языкознания. Этот факт не имел бы прямого касательства к нашей теме, если бы знакомство с Гумбольдтом, эти лингвистические «цветы запоздалые», не происходило под прямым влиянием и с помощью русской теоретической мысли. Тбилисский профессор Г.В.Рамишвили назвал Гумбольдта основоположником теоретического языкознания и организовал издание его собрания сочинений на русском языке. На болгарский язык до сих пор не переведена ни одна работа великого ученого, основателя Берлинского университета, автора исключительной программы обучения, которой долгие годы придерживалось и поныне придерживается наше университетское образование.

Первое исследование Гумбольдта, переведенное на иностранный язык, появилось в России в 1847 г. Оно озаглавлено *О сравнительном изучении языков в связи с различными эпохами их развития* (1843) и было опубликовано в самом престижном в то время научном издании – в *Журнале Министерства Народного Просвещения* в переводе Б.Яроцкого. Снова в этом журнале 11 лет спустя (1858 и 1859) в двух номерах вышло в переводе П.Билярского предисловие к исследованию языка кави, озаглавленное *О различии между организмами человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода* (1848). Через некоторое время это предисловие вышло в России отдельной книжкой. И тут снова натываемся на парадокс: эта книжка была введена в качестве учебника по теории языка в военных учебных заведениях России. И все же именно Россия оказывается той страной, в которой переводной, хотя и не очень объемный вариант творчества Гумбольдта получил значительную популярность. До выхода (1984) сборника под редакцией Рамишвили в переводе таких известных лингвистов, как А.А.Алексеев, В.В.Бибихин, О.А.Гулыга, В.А.Звегинцев и др., языковеды, не читающие по-немецки,

довольствовались переводом фрагментов в двухтомнике В.А.Звегинцева [Звегинцев 1964: 356-362], содержащем очерки и извлечения из трудов языковедов XIX и XX веков. Но в то же время о Гумбольдте в России было написано много – им занимался и обрусевший немец, профессор Московского и Ташкентского университетов Г.Шпет [Шпет 1927], и А.А.Потебня [Потебня 1862, 1958], и Д.Н.Овсяннико-Куликовский [Овсяннико-Куликовский 1893], а уже в послевоенный период В.И.Пустовалова, чья книга *Язык как деятельность* [Пустовалова 1982] дополняет большую серию исследований упоминавшегося уже неоднократно Г.В.Рапишвили [Рапишвили 1978, 1981, 1984 и др.].

По целому ряду экстралингвистических причин и прежде всего из-за трудности и витиеватости языка самого Гумбольдта его творчество подвергалось самым разным интерпретациям. На его родине, в Германии, при активном участии Х.Штейнталя был создан миф, обвязывающий Гумбольдта с философией Канта и, таким образом, отрывающий его от настоящих источников его философских убеждений – от систем И.Г.Гаманна и И.Г.Гердера. Эта тенденция распространилась быстро во всех европейских странах. И если некоторые ученые оспаривали ее в устной форме, ограничиваясь разговорами в университетской среде, в России первым серьезно и обоснованно возразил против неверного толкования теории Гумбольдта проф. Г.Шпет. Не отрицая знакомства Гумбольдта с философией Канта, Шпет совершенно четко отмечает, что она дошла до него как преломленный луч света, осветивший не столько языковедческие доктрины, сколько, прежде всего, творческое мироощущение самых выдающихся творцов немецкой культуры: «Кантианство для него заключается не в словах Канта, а в их эстетически-поэтическом преломлении в сознании Шиллера, Гете, романтиков, Шеллинга. Для правильного понимания и осознания философских основ теорий Гумбольдта не надо искать в них кантианских элементов, а его просто нужно поставить в один ряд с такими его современниками, как Фихте, братья Шлегель, Шиллер, Гете, Шлеймахер, Гегель» [Шпет 1927: 32-33].

Слова Шпета не спасли Гумбольдта от ударов вульгарно-материалистического мышления, нанесенных спустя много лет после его смерти в социалистическом мире. В Советском Союзе его обвиняют в «беспросветном идеализме» за известную мысль, содержащую в концентрированном виде программу всего его творчества: «Язык народа – это его дух, и дух народа – это его язык, и трудно представить себе нечто более тождественное». Но в том же Советском Союзе во весь рост встает проф. В.А.Звегинцев и заявляет, что теоретические конструкции Гумбольдта не могут приниматься или оспариваться только на базе одного из возможных

переводов отдельных фраз, поскольку указанная мысль в силу уникальной сложности языка Гумбольдта и, в частности, многозначности слова Geist может быть переведена и другим способом: «Язык народа находит воплощение в его образе мышления, и образ мышления народа воплощается в его языке – и трудно представить себе нечто более тождественное». В 1964 г., благодаря двухтомнику В.А.Звегинцева, принятому в качестве учебного пособия во всех советских филологических вузах, Гумбольдт был включен в учебные программы не только по общему языкознанию, но и по введению в языкознание. Таким образом, к его творчеству прикасались уже студенты первого курса. В то же самое время у нас ни один болгарский студент не слышал с кафедры имя Гумбольдта, а в учебниках по языкознанию вовсе не ставился вопрос о том, кто создал эту науку.

Немало лет спустя, благодаря русской теоретической мысли, этот пропуск начинает восполняться. Вероятно, не стоило бы так подробно говорить об этом случае, если бы в нашем общем языкознании не было бы и других подобных пробелов. И поскольку здесь упоминалось имя В.А.Звегинцева, позволю себе напомнить еще один очень существенный факт, связанный с историей общего языкознания. В учебных пособиях и даже в монографиях, связанных с этой научной дисциплиной, у нас полностью обходят вопрос об арабском языкознании, представляющем собой не только интересное явление, но и важный этап в истории лингвистики, процветание ее в Средние века на Востоке, когда грамматическая мысль Европы если не спит, то, по крайней мере, дремлет.

В 1958 г. издательство Московского университета выпустило книгу проф. Звегинцева *История арабского языкознания*. Не нахожу объяснения, почему этот труд, столь популярный в Америке и в ряде европейских стран, почти неизвестен нашим языковедам и не нашел отражения ни в одном пособии по общему языкознанию. А насколько важна и необходима для современной лингвистики эта книга, можно судить уже по первым словам автора: «В лингвистической литературе не существует систематического изложения истории возникновения и развития языковедческих учений на Востоке, несмотря на то что эта область науки нашла в народах, бытующих на этой территории, прилежных и подчас глубоких исследователей. Ни один из трудов по общей или частной истории языкознания не касается этой области» [Звегинцев 1958: 3]. В этой книге впервые показана роль арабского языка на Востоке, сравнимая с ролью латыни в Средневековой Европе и староболгарского языка в славянском мире. Показаны контакты на теоретическом уровне с индийской и античной традициями, показаны предложенные арабами и используемые до сих пор принципы эмпирической обработки языкового материала. Особый интерес представ-

ляет изложение сложной научной ситуации в период ожесточенного спора между школами в Куфе и Басре – ситуации, которая имела неоднократное повторение в истории теоретического языкознания в мировом масштабе. На примере развития арабского языкознания выясняются многие причины и стимулы развития языкознания вообще, языкознания как особой науки, названной Блумфильдом путем к самопознанию человека.

Здесь позволю себе остановиться на одном вопросе, разработанном впервые арабами. Это вопрос о так называемых незначительных частях речи, объединяемых термином *harf*, что в переводе означает ‘частица’. Фактически там, на Востоке, зародилась грамматика малых слов и связанных с ними языковых изменений, в том числе и процессов эллиптации предложения. Эти процессы имеют универсальный характер, и их трудно не заметить. Но теоретическое их обоснование было впервые осуществлено в России, в Казанской школе, Николаем Вячеславовичем Крушевским, предложившим термин *языковые утраты*. Этот необыкновенный по одаренности и объему творчества лингвист за свою короткую жизнь достиг таких вершин теоретических обобщений, что был признан Фердинандом де Соссюром наиболее интересным и углубленным языковедом своего времени. Творчество Крушевского тоже не получило нужной популярности в нашей традиции преподавания и разработки проблем общего языкознания. А можно было бы ожидать, что оно получит заслуженную популярность, поскольку в нашей стране бывал и встречался с языковедами Роман Осипович Якобсон, наиболее четко растолковавший проблематику творчества Крушевского, его феноменологию и его концепцию индивидуального контакта человека с языком, т.е. идиолекта.

Тут следует добавить, что и сам Якобсон, несмотря на свою огромную популярность в Болгарии, нуждается в дальнейшем более пристальном изучении, когда речь идет о его теоретических воззрениях и особенно о его толковании сущности человеческого языка как специфицированного для данного вида средства.

Из всего изложенного можно сделать вывод, что при всем интересе к русской лингвистической теоретической мысли нам все еще предстоит многое изучать и осознать. Особо серьезная работа предстоит по теме *Русское языкознание в контексте европейской науки о языке*. Над этой темой работают многие зарубежные коллеги. Она нашла отражение и в последней, написанной на английском языке, теоретической книге польского русиста, воспитанника Московского университета Анджея Богуславского *Linguistics-Philosophy Interface* [Богуславский 2004]. Нам, языковедам старшего поколения, не успеть довести разработку всех тем до конца. Но указать нашим наследникам на те основные пункты, которые

нуждаются в серьезном изучении и интерпретации, можно и должно, что я и постаралась частично сделать в своем изложении.

## ЛИТЕРАТУРА

- Березин 1979 – *Березин Ф.М.* История русского языкознания. М., 1979.
- Богуславский 2004 – *Boguslawski A.* Linguistics-Philosophy Interface. Warsaw, 2004.
- Звегинцев 1958 – *Звегинцев В.А.* История арабского языкознания. М., 1958.
- Звегинцев 1964 – *Звегинцев В.А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1964.
- Звегинцев 1984 – *Звегинцев В.А.* О научном наследии В. фон Гумбольдта // В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Ломоносов 1984 – *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. М., 1984.
- Никольский 1807 – *Никольский А.* Основания российской словесности. М., 1807.
- Овсяннико-Куликовский 1893 – *Овсяннико-Куликовский Д.Н.* А.А.Потебня как языковед-мыслитель // Киевская старина. Т. LXII. 1893.
- Потебня 1862 – *Потебня А.А.* Мысль и язык. М., 1862.
- Потебня 1958 – *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Т. 1-2. М., 1958.
- Пустовалова 1982 – *Пустовалова В.И.* Язык как деятельность. Опыт интерпретации концепции В.Гумбольдта. М., 1982.
- Рашишвили 1978 – *Рашишвили Г.В.* Вопросы энергетической теории языка. М., 1978.
- Рашишвили 1981 – *Рашишвили Г.В.* Языкознание в кругу наук о человеке // Вопросы философии. 1981. № 6.
- Рашишвили 1984 – *Рашишвили Г.В.* Сост., ред. и авт. Предисловия // В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Рижский 1806 – *Рижский И.С.* Введение в круг словесности. СПб., 1806.
- Шпет 1927 – *Шпет Г.Г.* Внутренняя форма слова. М., 1927.

## ВАРИАНТНОСТЬ И СИНОНИМИЯ ПОСЛОВИЦ

Проблема вариантности и синонимии пословиц важна прежде всего в контексте лексикографической проблематики. С этой проблемой сталкивается любой составитель паремиологического словаря; особенно остро проблема разграничения вариантов и синонимов встает при минимизации словаря в учебных целях. При отборе близких по смыслу пословичных текстов необходимо четко разграничивать синонимы и варианты. Каждый синоним должен отбираться как отдельная самостоятельная единица, варианты же не образуют отдельной единицы и рассматриваются в рамках той пословицы, вариантами которой они являются.

Решение проблемы пословичной синонимии затрудняется не только тем, что граница между синонимами и вариантами чаще всего размыта и неопределенна, но и тем, что фольклористы традиционно называют все пословицы близкого содержания вариантами. Считается, что «вариантность пословиц и поговорок проявляется главным образом в их синтаксическом и стилистическом оформлении» [Метева 1991: 83]. К вариантам фольклористы относят даже такие пословичные пары, как

*Борода выросла, а ума не вынесла.*

*Под носом взошло, а в голове не посеяно.*

*Овчинка выделки не стоит.*

*Игра не стоит свеч.*

*На безрыбье и рак рыба.*

*На безлюдье и Фома дворянин.*

Неразграничение столь далеких по своему оформлению пословиц не устраивает не только лингвистов, но и многих паремиологов. На необоснованно расширенное толкование пословичной вариантности указывает, например, Г.Л.Пермяков [Пермяков 1988: 137].

Поскольку пословицы являются своеобразными фразеологизмами, то проблема пословичной синонимии и вариантности должна решаться в контексте синонимии фразеологизмов.

Вариантность и синонимия тесно связаны с понятием устойчивости.

### **1. Устойчивость пословичного текста**

Устойчивость сверхсловной единицы (в том числе пословицы) – это сохранение постоянного компонентного состава и передаваемого им зна-

чения во всех случаях речевого употребления. Устойчивость – это константность, стабильность формы и содержания.

Проблема устойчивости активно разрабатывается лингвистами прежде всего в рамках фразеологической теории, в которую вписывается и пословичная проблематика. В этой теории множество спорных вопросов, но «по вопросу об устойчивости имеется редкое единодушие подавляющего большинства исследователей, которые считают, что устойчивость фразеологических единиц проявляется в их воспроизводимости в готовом виде» [Кунин 1970: 76].

Относя пословицы к фразеологическим единицам особого типа, можно считать, что к ним приложимо следующее определение устойчивости: «Под устойчивостью фразеологических единиц мы понимаем постоянство их состава, неизменяемость их структуры, которая создается в языке в результате их частого употребления в данном составе и в закрепившемся за ними смысле» [Савицкая 1962: 39]. Это определение, как легко заметить, строится на тесной взаимосвязи устойчивости и воспроизводимости.

Устойчивости пословиц способствует уже сама их жанровая принадлежность. Это самые короткие фольклорные единицы, наделенные самостоятельным смыслом. Структура пословицы уместается в одном единственном предложении. И уже одно это делает текст пословицы более стабильным, чем текст былины, легенды или сказки. Пословица предназначена для устного бытования в широкой народной среде. Поэтому она не может быть трудной для запоминания. Текст, который трудно удержать в памяти, народом либо забывается, либо преобразуется в легко запоминающуюся форму. В широко известном среди паремиологов «народном» определении пословицы, которое составил В.Мидер на основе опроса множества респондентов, запоминающаяся форма (*memorable form*) называется в ряду важнейших пословичных признаков [Mieder 1985: 119]. Яркая изящная форма пословиц (их складность, благозвучность, рифмо-ритмическая организация) служит не в последнюю очередь и для их легкого запоминания, способствуя тем самым устойчивости пословичного текста.

Вместе с тем следует отметить, что пословицы строятся по моделям обычных, свободно создаваемых в речи предложений. Это, в свою очередь, способствует ослаблению их устойчивости и появлению разнообразных текстовых вариаций.

Изучая устойчивые фразы, к которым относятся и пословицы, фразеологи устанавливают различные типы устойчивости, принимая во внимание те причины, которые к устойчивости приводят.

Пословицы относятся к тому типу устойчивых единиц, которые воспроизводятся по традиции. «Языковая форма пословиц традиционна... Именно это обстоятельство, т.е. речевая традиция, мешает лексическому и грамматическому изменению или варьированию пословиц, так как иных (структурных или смысловых) препятствий для такого варьирования и изменения не существует» [Райхштейн 1971: 49]. Как показывает практика, речевая традиция нарушается говорящими гораздо легче и чаще, чем жесткие правила языковой структуры. Другие фразеологизмы скрепляются какой-то своей «неправильностью», устранение которой ведет к разрушению фразеологизма. Пословицу же скрепляет лишь традиция, допускающая некоторые отклонения. Поэтому, как отметил еще В.И.Даль, «каждая пословица говорится на несколько ладов, особенно в случае приложения ее к делу» [Даль 1984: I, 10].

На то, что пословичный текст трансформируется очень часто, указывают и современные исследователи. В предисловии к одному из сборников пословиц В.П.Адрианова-Перетц пишет: «Нетрудно заметить, что огромное количество пословиц и поговорок бытует в разных вариантах, причем вариант может внести новый оттенок и в образ, и в заключенный в нем переносный смысл» [Адрианова-Перетц 1957: 10]. Т.А.Наймушина, изучавшая использование пословиц не в спонтанной речи, а в литературных произведениях, когда автор тщательно работает над языковой формой изложения и когда исключается речевая небрежность, отмечает: «При функционировании в художественных текстах широко известные частотные пословицы и поговорки, как правило, претерпевают различного рода трансформации» [Наймушина 1984: 4].

Здесь обращает на себя внимание то, что пословицы трансформируются не иногда, а «как правило»; и В.И.Даль говорил о «каждой» пословице. Значит, изменение пословичного текста – явление типичное. Пословицы варьируются настолько часто и разнообразно, что иногда возникает сомнение в их устойчивости. А.А.Крикманн, например, прямо называет «ошибочным представлением, будто пословицы являются своеобразными “ready-made” utterances, или окаменелыми клише» [Крикманн 1978: 101]. По его мнению, такое «ошибочное представление» может возникнуть лишь у тех, кто работает либо с ограниченным материалом, либо только с письменными источниками. Этот упрек известного эстонского паремиолога едва ли справедлив. Уже тот факт, что мы легко вычленим пословицы из потока речи, говорит о наличии у них устойчивой формы, по которой мы их и «узнаем в лицо». Говоря о фольклорных изречениях разных типов (и прежде всего о пословицах), Г.Л.Пермяков замечает: «Единственное, что объединяет столь разнородные тексты в одну языковую категорию, –

это известное постоянство их облика. Все они являются устойчивыми сочетаниями слов, или, как говорят языковеды, представляют собой клише» [Пермяков 1988: 15]. Кроме того, сам факт существования пословичных словарей, сборников и списков тоже свидетельствует о том, что пословицы являются готовыми единицами, именно «ready-made utterances».

Вместе с тем практика убедительно показывает, что пословица подвержена варьированию как никакая другая единица. Можно сказать, что пословица наиболее устойчива среди фольклорных текстов и наименее устойчива среди фразеологизмов. Сопоставление различных словарей и списков показывает, что некоторые пословичные тексты допускают по 4-5 трансформаций, зафиксированных словарями. Например:

*Как/сколько волка ни корми, (а) он все в лес смотрит/ глядит.*

*Обжегшись на молоке, дуют/ дуешь/ станешь дуть (и) на воду.*

*Вода/капля (и) камень долбит/ точит.*

*Конь (и) о/ на четырех ногах, да (и тот) спотыкается, (а на двух и споткнуться не диво).*

*Плох тот солдат, который не надеется/ хочет быть/ стать генералом.*

*Кто рано встает, тому бог дает/ тот дольше живет/ того удача ждет.*

Из приведенных примеров видно, что трансформация текста приводит к некоторому изменению смысла, иногда (как в последнем примере) – к изменению довольно существенному. Кроме того, фольклористы всегда подчеркивают, что пословица – это не обычный, а фольклорно-поэтический текст, в котором художественная форма, образность является неотъемлемой частью его содержания. Более того, подчеркивается, что «пословица и поговорка являют собой готовую поэтическую формулу мысли» и что образный художественный смысл – это «главный содержательный момент в пословице» [Аникин 1976: 277 и 265]. Поэтому малоубедительным представляется утверждение Г.Л.Пермякова о том, что «все пословицы с одним смыслом (выражающие одну ситуацию) являются вариантами, а сама эта ситуация – их инвариантом» [Пермяков 1988: 22]. Здесь недооценивается художественная форма пословиц, которая играет важнейшую роль в формировании пословичного смысла.

Смена компонентов всегда так или иначе отражается на художественной форме пословицы (и на ее образно-метафорическом строе, и на ее звуко-интонационном оформлении), а значит, отражается и на пословичном содержании. Сравни, например:

*Капля и камень долбит.  
Вода и камень точит.  
Вода и землю точит, и камень долбит.  
Игра не стоит свеч.  
Овчинка выделки не стоит.  
Друзья познаются в беде.  
Друг познается при рати да при беде.  
Конь познается при горе, а друг – при беде.*

Разные трансформации приводят к разным структурно-смысловым изменениям. В связи с этим возникает вопрос: какие изменения приводят к образованию лишь вариантов одной и той же пословицы, а какие – к порождению новой, синонимичной пословицы? Иными словами, работая с конкретным пословичным материалом, всегда приходится решать вопрос о том, где кончается вариантность и начинается синонимия, как разграничить варианты и синонимы.

Здесь необходимо сделать два замечания.

Во-первых, поскольку мы рассматриваем проблему синонимии главным образом в аспекте разграничения вариантов и синонимов, то нас интересуют прежде всего пары генетически близких, т.е. родственных между собой пословичных текстов. Неродственные тексты вариантами одной и той же пословицы быть не могут. Например:

*Куй железо, пока горячо.  
Коси коса, пока роса.  
  
Чтоб рыбку съесть, надо в воду лезть.  
Не разгрызть ореха – не съесть ядра.  
  
Клин клином вышибают.  
Чем ушибся, тем и лечись.  
  
Хоть видит око, да зуб неймет.  
Близок локоть, да не укусишь.*

Можно спорить о том, насколько пословицы в каждой из указанных пар синонимичны, но не о том, разные ли это пословицы. Самостоятельность каждой из этих пословиц очевидна.

Если же пословичные тексты генетически связаны между собой (по-скольку они возникли в результате трансформации какого-то одного инварианта), то у них есть и признаки общего происхождения, и приобретенные в результате трансформации различия. Есть точка зрения, согласно которой различия в генетически связанных текстах приводят не к синонимии, а только к вариантности, поэтому «пословицы-синонимы в целом противопоставляются вариантам пословицы как генетически не тождественные пословицы» [Благова 2000: 47]. Эта точка зрения представляется мало убедительной. Два родственных, генетически связанных пословичных текста могут и по смыслу, и по художественной форме разойтись настолько, что их можно будет обоснованно считать синонимами, а не вариантами.

Сопоставляя трансформированные пословичные тексты, отграничить синонимы от вариантов бывает совсем не просто. Сколько, например, синонимов и вариантов представлено в следующем ряду:

*Всему свое время.  
Всякому овощу свое время.  
Всякому фрукту свое время.  
Всякое семя знает свое время.  
До поры до времени не сеют семени.*

О генетической связи этих пословичных текстов говорит общность ключевых компонентов (*свое время*), а также схожесть метафорики и легко прослеживаемая аналогия в их построении и в текстовой трансформации (возможно, в той последовательности, в какой они даны в примере). Ясно, что не любое изменение текста порождает новую пословицу-синоним и в указанном ряду не пять самостоятельных пословиц, но и не одна в пяти вариантах. Разные виды трансформаций в родственных пословичных текстах и роль этих трансформаций в формировании синонимии/вариантности и должны стать предметом обсуждения в данной статье.

Второе замечание относится к особому виду трансформаций, характерных именно для пословичных текстов. Как уже отмечалось, при свободном употреблении пословиц в речи говорящий далеко не всегда воспроизводит пословицу абсолютно точно. Вплетая пословицу в канву живой речи, говорящий (пишущий) не только выбирает один из устоявшихся вариантов, но и допускает в пословичный текст элементы свободного комбинирования. Вот несколько примеров, взятых из работы А.М.Мелерович и В.М.Мокиенко [Мелерович, Мокиенко 2001], изучавших речевое функционирование фразеологизмов (в том числе и пословиц):

***В чужом глазу сучок видим, а в своем и бревна не замечаем.***

– Зло есть во всех, – возражал ей запальчиво Петр Михайлович, – только мы у *других* видим сучок в глазу, а у себя бревна не замечаем (А.Писемский. Тысяча душ).

***Повинную голову меч не сечет.***

– Как блудный сын, когда он вернулся в отчий дом, мы с тобою тоже вольны вернуться. С повинной головой. *Повинную голову не рубят* (К.Федин. Необыкновенное лето).

***Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.***

Олег взглянул на него, брезгливо поморщился, хотел попрощаться и уйти, но Ванин, ухмыльнувшись, сказал: «*Не плюй в колодец, еще пить захочется...*» (Н.Леонов. Выстрел в спину).

Как видно из примеров, отмеченные в них текстовые отрезки являются индивидуальными, окказиональными трансформациями пословиц. Свободные трансформации такого типа иногда называют индивидуально-авторскими [Жуков 2001: 15] (в отличие от общенародных) или речевыми [Савенкова 1989: 8] (в отличие от языковых), поскольку они не обладают рекуррентностью, а создаются лишь для данного конкретного случая, т.е. окказионально. Это явление имеет и более удачное название – авторское варьирование, под которым имеется в виду «любое, не закрепленное в практике носителей языка преобразование пословицы в лексическом, структурном или семантическом планах» [Панина 1986: 13].

Нередко устойчивый пословичный текст изменяется говорящим для достижения особого стилистического эффекта. Такие трансформации особенно характерны для художественной и публицистической речи. Например:

***И волки сыты, и овцы целы.***

И ведь как прелестно – никаких политических проблем! *И козы сыты, и сено цело* (Литературная газета, 1981, 1 янв.).

***Волка ноги кормят.***

***Семь раз примерь, один раз отрежь.***

Другой начальник требует... Ваше дело по городу бегать, все видеть, все знать. А вот Кузьмич нам внушает: «*Ноги только волка кормят,*

*а человека должна голова кормить. Семь раз подумай, один раз беги, понял?» (А.Адамов. Злым ветром).*

Исследуя такие индивидуально-авторские трансформации, Т.А.Наймушина отмечает, что «изменение ее [пословицы] формы и/или значения воспринимаются как намеренное нарушение устойчивого, общепотребительного, т.е. как сознательное ее обыгрывание. В своем трансформированном виде пословица или поговорка воспринимается как стилистический прием, преследующий определенные цели» [Наймушина 1984: 14].

К этому же типу трансформаций можно отнести те случаи, когда говорящий сознательно изменяет пословичный текст для достижения комического эффекта. Переименование пословичного текста – очень яркий и действенный стилистический прием. Используются разные приемы перестраивания всем хорошо известного текста, но чаще всего – свободные добавления к пословичному тексту и прием контаминации, когда в одно целое объединяются части различных пословиц (нередко тоже трансформированные) и получается неожиданный смысловой результат. Например:

*Ум хорошо, а сто рублей лучше.  
Не в деньгах счастье, а в их количестве.  
Тише едешь – дальше будешь от того места, куда едешь.  
Семеро одного не ждут, если он гуляет смело.  
В темноте, да не в обиде.  
Покажи мне твой подарок, и я скажу тебе, кто ты.*

Трансформации этого типа в данной работе не рассматриваются, поскольку они находятся за рамками нашей темы. Индивидуально-авторские трансформации не являются готовыми языковыми единицами, это окказиональные речевые образования. Поэтому они должны рассматриваться не при установлении статуса языковых единиц, а при изучении сферы употребления подобных образований [Вяльцева 1975].

## **2. О пословичной синонимии**

Разграничение синонимов и вариантов зависит прежде всего от того, как трактуется понятие синонимии. Под синонимами обычно понимают единицы, близкие по значению. Разногласия среди исследователей возникают в понимании «близости значения» и в определении степени близости. Совершенно справедливым следует признать замечание о том, что «наиболее сложной проблемой при определении групп синонимов являет-

ся установление близости оттенков значения слов, включаемых в данный синонимический ряд. Объективных критериев того, что считать оттенком значения, в лингвистике, к сожалению, пока не выработано, поэтому здесь проявляется во многом еще субъективный подход» [Чешко 1975: 6].

Одним из наиболее объективных показателей синонимичности двух единиц обычно считается их взаимозаменяемость в разных контекстах. Но семантический результат таких замен все равно приходится оценивать субъективно. Существует мнение, что синонимические замены в принципе невозможны без существенных потерь для смысла текста. Г.О.Винокур, например, считал, что «синоним является синонимом только до тех пор, пока он находится в словаре. Но в контексте живой речи нельзя найти ни одного положения, в котором было бы все равно, как сказать: *конь* или *лошадь*, *ребенок* или *дитя*, *дорога* или *путь* и т.п.» [Винокур 1929: 85]. Критерий взаимозаменяемости синонимов не принимается и другими исследователями (среди них А.П.Евгеньева, Е.А.Иванникова, И.И.Чернышева и др.). Кроме того, обычно говорят о взаимозаменяемости синонимичных единиц в рамках одного предложения. Пословица же сама является предложением, «пословица – это самостоятельное и самодостаточное художественное целое» [Тарланов 1999: 47]. При употреблении в речи пословица связывается с соседними предложениями совсем не так, как члены одного предложения связываются между собой. Поэтому проверка синонимичности пословиц их взаимозаменяемостью имеет еще меньше оснований, а роль субъективной оценки при работе с пословичным материалом возрастает.

Близость значения возникает у единиц, которые обозначают одно и то же понятие. Это требование обычно и кладется в основу определения синонима: «Синонимы – слова, обозначающие одно и то же явление действительности» [Шанский 1972: 52]. Это самое общее определение, которое, конечно, нуждается в уточнении. «Наиболее распространенным (нередко называемым традиционным) пониманием синонима, – пишет Л.А.Чешко, – является следующее: синонимами признаются слова, выражающие одно и то же понятие, тождественные или близкие по своему значению, которые отличаются один от другого или оттенками значения, или стилистической окраской (и сферой употребления), или одновременно обоими названными признаками» [Чешко 1975: 5]. Идентичное определение синонима дает Ю.Д.Апресян [Апресян 1957: 85], посвятивший изучению синонимии много своих работ. Такое понимание синонима положено и в основу известного Словаря синонимов под ред. А.П.Евгеньевой [Евгеньева 1975: 3]. Везде подчеркивается обязательность называния синонимами одного и того же явления, потому что «эта одинаковая номинативная

функция и является тем стержнем, благодаря которому слова в лексической системе языка объединяются в синонимические ряды» [Шанский 1972: 54].

Указанное определение синонима дано в отношении слов, но оно по сути своей верно и в отношении фразеологизмов, к которым мы относим и пословицы. Говоря о наиболее существенном признаке синонимичности в приложении к фразеологизмам, В.П.Жуков отмечает: «Наиболее общим и решающим условием синонимичности фразеологизмов следует считать то, что они выражают одно общее понятие. Вместе с тем фразеологизмы, входящие в синонимический ряд, могут и отличаться друг от друга оттенками значения, стилистической окраской, функционально-речевой сферой, а иногда всеми этими качествами одновременно» [Жуков 1987: 4].

Пословицы, однако, отличаются и от слов, и от других фразеологизмов прежде всего тем, что выражают не понятия, а суждения и обозначают типовые ситуации. Поэтому синонимичные пословицы должны обозначать тождественные или идентичные типовые ситуации, тогда они будут обладать необходимой для синонимов смысловой близостью.

Наряду с семантической близостью синонимы должны иметь и некоторые различия, относящиеся к их структурно-семантической организации и функционированию. «Слова-синонимы, – отмечает А.П.Евгеньева, – служат выражению тонких смысловых оттенков данного понятия, выражению той или иной экспрессии, эмоциональной или стилистической окраски» [Евгеньева 1975: 3]. Пословицы-синонимы выражают смысловые оттенки обозначаемой ситуации, а также различные эмоционально-оценочные оттенки. Поскольку пословичные синонимы противопоставляются по тем же параметрам, что и лексические синонимы, то принятая в лексикологии классификация синонимов приложима и к пословицам. Обычно выделяют смысловые, или идеографические, и стилистические синонимы. Эти же два основных класса выделяются и среди синонимических пословиц.

Пословицы, однако, в стилистическом отношении гораздо более однородны, чем слова. Все пословицы, как правило, употребляются в разговорной речи. Поэтому в пословичной синонимии класс стилистических синонимов представлен не так отчетливо, как в лексике. В то же время типичный для пословиц эмоционально-оценочный признак выражается в разных пословицах с разной степенью интенсивности (Сравни: *Пеший конному не товарищ* и *Гусь свинье не товарищ*). Это в значительной степени определяет сферу их функционирования (даже в рамках разговорной речи, которая неоднородна). В этом смысле можно говорить о выделении стилистических синонимов и среди пословиц.

При разграничении синонимов и вариантов большее внимание следует уделить не общим, а различным признакам тех и других единиц. Очевидно, что в сравнении с синонимами варианты должны иметь меньше различий, которые не приводят к образованию самостоятельной единицы. Говоря о таких различиях, И.Л.Федосов пишет: «Фразеологические варианты... могут отличаться одним только словом, вносящим незначительные смысловые или стилистические изменения». Вместе с тем подчеркивается, что «эти различия настолько незначительны, что они не приводят к образованию вариантных синонимов ФЕ» [Федосов 1974: 119]. Это положение приложимо и к пословицам.

При разграничении пословичных синонимов и вариантов мы исходим из следующего понимания варианта: «Варианты пословиц – это лексико-грамматические разновидности пословиц, тождественные по их значению в целом, стилистическим и синтаксическим функциям и имеющие общий лексический инвариант при частично различном лексическом составе» [Селянина 1970: 7].

Поскольку синонимы называют одно и то же явление, но по-разному, то между синонимами устанавливается не семантическое тождество, а лишь семантическая близость. Если же трансформация текста приводит к очень незначительным смысловым потерям, которыми можно пренебречь, то трансформированный и исходный тексты можно считать семантически тождественными, т.е. вариантами одной и той же единицы.

Как уже указывалось, генетически не связанные (не родственные) пословицы близкого содержания вариантами быть не могут, они могут быть лишь синонимами. Генетически же связанные пословицы могут быть как вариантами, так и синонимами. Родственные пословицы возникают вследствие разнообразных преобразований пословичного текста. Важно определить, какие текстовые изменения приводят к образованию разных синонимов, а какие – к образованию лишь вариантов одной и той же пословичной единицы.

### **3. Виды преобразований пословичных текстов**

В процессе функционирования пословиц в живой речи «происходит пестрое и динамическое варьирование текстов (входящих в один тип) как в области лексики, так и в области синтаксиса и в области фонетики» [Крикманн 1978: 101]. Эти изменения так или иначе отражаются и на смысле пословиц. В зависимости от того, какая часть пословичной структуры подвергается изменению, обычно [см., например, Савенкова 1989: 8; Пермяков 1988: 137] выделяются а) лексические, б) грамматические и в)

структурные трансформы; отдельную группу составляют г) редуцированные пословицы.

**а). Лексические изменения** в тексте пословиц (замена лексических компонентов) наиболее часты и разнообразны.

Нередко то или иное слово в составе пословицы заменяется синонимом:

*У всякой/ каждой пташки свои замашки.  
Свет/ мир не без добрых людей.  
Худые/ плохие вести не лежат на месте.  
Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит/ глядит.  
Прежде отца/ батьки в петлю не лезь/ не суйся.  
Бог/ господь/ Христос терпел и нам велел.  
По одежке/ по платью встречают, по уму провожают.  
Пришла беда – открывай/ отворяй/ растворяй ворота.*

Подобные замены не приводят к существенному изменению смысла пословиц. Вероятно, поэтому синонимичные замены компонентов в пословичных текстах встречаются так часто. Поскольку смысловые потери при таких заменах пренебрежительно малы, тексты с синонимичным варьированием компонентов можно считать вариантами одной и той же пословицы.

В пословичных текстах в целом ряде случаев лексические компоненты заменяются стилистическими синонимами. Нельзя сказать, однако, что такие замены обязательно приводят к образованию стилистических пословичных синонимов. Например:

*Один в поле не воин/ не ратник.  
Хоть видит око/ глаз, да зуб неймет.  
Ночная кукушка денную/ дневную перекукует.  
Бог шельму/ плута метит.  
Дурная/ непутевая голова ногам покоя не дает.  
Клин клином выбивают/ вышибают.  
Лиха беда начало/ почин.*

При подобных стилистических заменах компонентов стилистическая окраска всего пословичного текста изменяется незначительно. Это происходит прежде всего потому, что у слов-компонентов в составе фольклорного текста стилистическая нагрузка ослаблена под влиянием стилистической окрашенности всей пословицы в целом. Очевидно, что

при подобных стилистических заменах у пословиц появляются лишь новые варианты, а не синонимы.

Сюда же можно отнести случаи замены слов (обычно существительных, реже – прилагательных) их уменьшительно-ласкательными формами. Такие замены Н.Н.Амосова называла случаями «словообразовательной перестройки одного из компонентов» [Амосова 1963: 100]. Смысл пословиц от этого не меняется, стилистическая окраска – очень незначительна. Текст в целом поэтому можно считать вариантным. Например:

*Деньги/ денежки счет любят.  
Для друга/ для милого дружка семь верст не околица.  
И на старуху/ старушку бывает проруха/ прорушка.  
Кобыла/ кобылка с волком тягалась, только хвост да грива осталась.  
Курица/ курочка по зернышку клюет, да сыта бывает.  
Яблоко/ яблочко от яблони/ яблоньки недалеко падает.  
Ласковое теля/ телятко/ теленок двух маток сосет.  
Мал, да удал/ Маленький, да удаленький.*

Нередко в пословицах лексические компоненты заменяются не синонимами, а словами более или менее близкой семантики:

*Семь раз отмерь/ примерь, один раз отрежь.  
Там/ везде хорошо, где нас нет.  
У злой/ кривой Натальи все каналы.  
Рыба с головы гниет/ воняет.  
Слово не воробей, вылетит/ выпустишь – не поймашь.  
Назвался груздем/ грибом – полезай в кузов.  
Дареному/ даровому коню в зубы не смотрят.*

В подобных случаях, как и в случаях замены компонентов синонимами, смысл пословицы меняется незначительно, поэтому тексты этого типа можно считать вариантными.

Гораздо более существенно изменяется пословичный текст при замене слов-компонентов не синонимами. Несинонимические замены приводят и к более или менее значительному изменению смысла пословицы, и к смене метафорики, являющейся частью пословичного содержания. Такие изменения поэтому приводят к появлению новых единиц – пословиц-синонимов. Примеры таких трансформаций многочисленны.

*Глаза – зеркало души.  
Лицо – зеркало души.  
За одного битого двух небитых дают.  
За одного ученого двух неученых дают.  
Гречневая каша сама себя хвалит.  
Хороший товар сам себя хвалит.  
Золото и в грязи блестит.  
Алмаз и в грязи виден.  
Век прожил, а ума не нажил.  
До лысины дожил, а ума не нажил.  
В гостях – Илья, а дома – свинья.  
В людях – ангел, а дома – черт.  
Ближняя копейка дороже дальнего рубля.  
Ближняя соломка лучше дальнего сенца.*

Здесь следует отметить, что лексические замены, приводящие к синонимии, должны затрагивать не любой компонент пословичного текста, а лишь ключевые слова. Хотя фольклорный текст «отредактирован» народом до совершенства и в нем нет ничего лишнего, в любой пословице есть компоненты, которые несут основную смысловую и образно-метафорическую нагрузку. По этим основным элементам мы можем узнать пословицу, даже не расслышав полного пословичного текста. Такую узнаваемую часть пословицы называют «ядром пословицы» [Norttuck 1985: 45]. В пословичное ядро обычно входят полнозначные слова (прежде всего существительные, прилагательные, глаголы), которые легче других метафоризируются.

К типу лексических замен можно отнести и так называемые серийные пословицы. Это группы пословиц, построенных по одной логико-синтаксической схеме или, по словам М.Кууси, по одной «архитектурной формуле» [Kuusi 1966: 98].

Анализ структурной организации пословиц ясно показывает, что во всех языках «существует определенное число пословичных архитектурных или композиционных формул. Такова формула <Лучше одно, чем другое> (*Лучше поздно, чем никогда*), <То-то есть то-то> (*Сделка есть сделка*)» [Дандис 1978: 16].

Таких архитектурных формул немного, но по каждой из них строится целая серия однотипных пословиц. Например:

*Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  
Лучше воробей в руке, чем петух на кровле.  
Лучше теленок в хлеву, нежели корова за горой.*

*Лучше дать, чем взять.  
Лучше торговать, чем воровать.  
Лучше оступиться, чем оговориться.*

*Всяк кулик свое болото хвалит.  
Каждая курица свой насест хвалит.  
Всяка лиса свой хвост хвалит.  
Всяк купец свой товар хвалит.*

*Мал соловей, да голос велик.  
Мала ворона, да рот широк.  
Мала птичка, да коготок остер.*

*Любишь кататься – люби и саночки возить.  
Любишь взять – люби и отдать.  
Любишь говорить – люби и слушать.  
Любишь медок – люби и холодок.  
Любишь меня – люби и собачку мою.  
Любишь подарки – люби и отдарки.*

Пословицы, построенные по одной логико-синтаксической модели, образуют серии единиц, близких не только структурно, но и по смыслу. Все они называют одну и ту же типовую ситуацию, суть которой заложена в самой модели. В каждой из пословиц одной структурной серии использованы разные языковые средства, но отношения между объектами ситуации не меняются, а «характер отношения между вещами и составляет основной смысл всякой пословицы и поговорки» [Пермяков 1988: 21]. Таким образом, можно сказать, что пословицы одной логико-синтаксической модели называют одно и то же явление (одну типовую ситуацию), но по-разному. Некоторые исследователи считают эту разницу незначительной и утверждают, что серийные пословицы «составляют промежуточную зону между вариантами пословицы и пословицами-синонимами» [Благова 2000: 47]. Эта позиция представляется недостаточно обоснованной, поскольку недооценивается тот факт, что в пословицах одной серии используются разные слова. Это значит, что у них разное образно-метафорическое оформление, разная художественная форма, которая тоже является частью пословичного содержания. Да и смысл серийных пословиц со сменой ключевой лексики неизбежно претерпевает заметные изменения. Поэтому пословицы одной серии с большим основанием следует рассматривать не как варианты одной единицы и не как промежуточные

образования, а как разные единицы, находящиеся между собой в синонимических отношениях.

Обычно пословицы одной серии образуют ряд идеографических синонимов, но иногда среди них можно выделить и стилистические синонимы. Например:

*Пеший конному не товарищ.  
Волк коню не товарищ.  
Горшок котлу не товарищ.  
Сапог лаптю не брат.  
Гусь свинье не товарищ.*

В этой серии пословицы обладают разной степенью эмоционально-оценочной окраски. Пословица *Гусь свинье не товарищ* воспринимается как значительно более грубая, чем, скажем, *Пеший конному не товарищ*. И это, конечно, отразится на выборе той или иной пословицы в разных сферах общения.

**б). Грамматические замены** в пословичных текстах наблюдаются довольно часто. В этих случаях заменяется не само слово, а лишь его грамматическая форма. Например:

*Волков/ волка бояться – в лес не ходить.  
Всяк/ всякий кулик в своем болоте велик.  
Двум смертям/ двух смертей не бывать, а одной не миновать.  
Для милого дружка и сережка/ сережку из уха.  
Кашу/ каши маслом не испортишь.  
От трудов праведных не наживешь/ не нажить палат каменных.*

Сюда же можно отнести случаи замены местоименных компонентов:

*Не мой/ твой/ наш/ ваш воз, не мне/ тебе/ нам/ вам его и везти.  
Люди пахать, а мы/ ты/ вы/ он/ она/ они руками махать.  
Будет и на нашей/ моей/ твоей улице праздник.  
Вашими/ твоими бы устами да мед пить.*

В некоторых случаях грамматические трансформации приводят к смене части речи у одного из компонентов и к соответствующим конструктивным изменениям в пословичном тексте. Например:

*Видно/ видеть птицу по полету // Видна птица по полету.  
Близко/ близок локоть, да не укусишь.*

К типу грамматических замен можно отнести и варьирование предлогов и союзов в некоторых пословичных текстах:

*Молодец против/ среди/ на овец, а против/ на молодца и сам овца.  
На людях/ с людьми и смерть красна.  
Либо/ или грудь в крестах, либо/ или голова в кустах.  
Муж и/ да жена – одна сатана.*

Во всех указанных случаях грамматические замены не нарушают смыслового тождества пословиц. Не изменяется существенно и художественная форма пословичного текста. Следовательно, эти замены приводят лишь к вариантности, а не к синонимии.

**в). Структурные замены** для пословичных текстов характерны не меньше, чем замены лексические и грамматические. Структурные трансформации нередко называют синтаксическими [Пермяков 1988: 137], поскольку у пословицы меняется синтаксическое построение.

В пословицах с трансформированной структурой выделяются две большие группы. В одних пословицах при структурных заменах почти полностью сохраняется образно-метафорическое оформление пословичного текста. В пословицах другой группы наблюдается существенная замена как структуры, так и образности.

К первой группе можно отнести такие пары пословичных текстов, как:

*Не сули журавля в небе, дай синицу в руки.  
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  
Бойся гостя стоячего, а не сидячего.  
Страшен гость стоячий, а не сидячий.  
Москва слезам не верит.  
Москву не разжалобишь.  
Любовь слепа.  
У любви нет глаз.  
Как постелешь, так и постишь.  
Какова постель, таков и сон.  
Гордым быть – глупым слыть.  
Гордость глупости сосед.  
Голому разбой не страшен.  
Гольй беды не боится.*

*Беды мучат, да уму учат.  
Беда вымучит, да выучит.*

У этих пословичных пар метафорика изменена незначительно, поскольку в них компоненты либо не изменены, либо они заменяются словами близкой семантики (*бойся – страшен, слепой – нет глаз, постишь – сон*). Такие замены не приводят к существенной смене образности пословичного текста. Поскольку у этих пар ни смысл, ни образность существенно не изменены, каждую из подобных пар можно считать вариантом одной и той же пословицы.

В пословицах другой группы образность меняется кардинально:

*В чужой монастырь со своим уставом не ходят.  
В чужом доме не указывают.  
Бодливой корове бог рог не дает.  
Не дал бог свинье рог, а бодуца была бы.  
Ешь пирог с грибами, да язык держи за зубами.  
Щи хлебай, да поменьше бай.  
Все хорошо, что хорошо кончается.  
Конец – делу венец.  
В своем гнезде и ворона коршуну глаза выклюет.  
На своем пепелище и курица бьет.  
Беда никогда не приходит одна.  
Пришла беда – отворяй ворота.*

Как видно из указанных примеров, смена образности существенно меняет «эстетическое своеобразие» и содержание пословицы. Вместе с тем смена компонентов нередко в той или иной мере меняет и характер ситуации, которую называет пословица. Иногда со сменой компонентов пословичный текст приобретает более яркую стилистическую окраску. В этом случае можно утверждать, что «пословичное суждение обретает самостоятельность смыслового и художественного новообразования» [Аникин 1988: 10]. Поэтому структурно-семантические замены подобного типа приводят не к вариантности, а к синонимии.

Следует отметить, что в целом ряде случаев бывает трудно определить, в какой степени (существенной или незначительной) меняется смысл и содержание пословицы со сменой ее структуры и компонентного состава. Вот несколько примеров:

*Беда всему учит.  
Беды мучат, да уму учат.  
Волков бояться – в лес не ходить.  
Бояться волков – быть без грибов.  
Здоровье всего дороже.  
Здоровье всему голова.  
Как аукнется, так и откликнется.  
Каков привет, таков и ответ.  
Берись дружно – не будет грузно.  
Дружно не грузно, а врозь – хоть брось.  
Добрая слава далеко, а худая – дальше.  
Добрая слава до порога, а худая – за порог.*

В сомнительных случаях, когда трудно отделить вариантность от синонимии, мы считаем целесообразным либо проверять сомнительный пословичный текст по авторитетным словарям и сборникам (т.е. прибегать к экспертной оценке), либо следовать совету В.П.Жукова, который писал о фразеологических вариантах и синонимах: «Во всех случаях, когда трудно или невозможно установить, являются ли конкретно данные обороты вариантами одной фразеологической единицы или выступают как синонимы, вопрос решается в пользу фразеологической синонимии» [Жуков 1987: 10].

**г). Редуцированные пословицы** составляют особую группу. Это пословицы, которые в речевом употреблении подвергаются регулярным сокращениям. Чаще всего сокращается один из компонентов пословичного текста:

*Беда (никогда) не приходит одна.  
Беды мучат, (да) уму учат.  
Делу время, (а) потехе час.  
(Где) дрова рубят, (там и) щепки летят.  
Воду (в ступе) толочь – вода и будет.  
Горбатого (одна) могила исправит.  
(Одна) паршивая овца все стадо портит.  
(Летний) день год кормит.*

Есть целый ряд пословиц, у которых регулярно редуцируется последняя часть (усекается хвост пословицы). Более того, в сокращенном, неполном составе эти пословицы употребляются гораздо чаще, чем в полном. Нередко полный текст пословицы не все и знают. Например:

*Голод не тетка (пирожка не подсунет).  
Что ни город, то норы (что ни деревня, то обычай).  
Чем черт не шутит (пока бог спит).  
Старость не радость (не красные дни).  
Рука руку моет (и обе белы бывают).  
Не все коту масленица (будет и великий пост).  
Моя хата с краю (ничего не знаю).  
За одного битого двух небитых дают (да и то не берут).  
Двум смертям не бывать (а одной не миновать).  
Век живи, век учись (а дураком помрешь).*

Редукция как отдельных компонентов, так и части пословицы не приводит к изменению смысла пословичного текста, поскольку пословица и в полном, и в усеченном составе называет одну и ту же типовую ситуацию. Несущественно изменяется и образность редуцированных пословиц, поскольку в основной своей части пословица остается неизменной. Это значит, что полный и редуцированный тексты не образуют отдельных единиц, а являются вариантами одной и той же пословицы. А.В.Кунин называет их «квантитативными вариантами» [Кунин 1972: 253], поскольку они образуются путем усечения части пословичного текста.

Редуцированные пословицы напоминают эллипсисы во фразеологии. По словам С.Г.Гаврина, «эллипсисы – это арсенал сокращенного выражения привычных, обиходных мыслей... Образование и функционирование эллипсисов подчинено одной общей закономерности – подчинению полных, описательных конструкций задачам лаконизации речи» [Гаврин 1973: 35]. Редуцированные пословицы используются именно для лаконизации речи. Их можно отнести к арсеналу средств сокращенного выражения привычных типовых ситуаций.

Регулярное редуцирование пословичного текста В.П.Жуков называет факультативностью, которая, по его словам, «существенно отличается от вариантности». Для наших целей, однако, важно не то, чем факультативность отличается от вариантности, а то, что «факультативность не влияет на категориальную характеристику пословиц» [Жуков 2001: 17] и потому не ведет к образованию самостоятельных пословичных единиц.

Таким образом, рассмотренные структурно-компонентные преобразования в пословичном тексте, наступающие в процессе функционирования пословиц в речи, в большинстве случаев приводят к образованию пословичных вариантов. Самостоятельные пословицы-синонимы образуются главным образом в том случае, если:

1) в пословичном тексте происходят несинонимические замены компонентов;

2) преобразования затрагивают и структуру, и основной компонентный состав текста.

В этих случаях наступают существенные изменения как в содержании пословиц, так и в их образно-метафорической форме. По этой причине преобразованные указанными способами пословичные тексты являются синонимами, а не вариантами.

## ЛИТЕРАТУРА

Адрианова-Перетц 1957 – *Адрианова-Перетц В.П.* Пословицы и поговорки // Избранные пословицы и поговорки русского народа. М., 1957.

Амосова 1963 – *Амосова Н.Н.* Основы английской фразеологии. Л., 1963.

Аникин 1976 – *Аникин В.П.* О «логико-семиотической» классификации пословиц и поговорок // Русский фольклор. XVI. Л., 1976.

Аникин 1988 – *Аникин В.П.* Долгий век пословицы // Русские пословицы и поговорки. М., 1988.

Апресян 1957 – *Апресян Ю.Д.* Проблема синонима // Вопросы языкознания. 1957. № 6.

Благова 2000 – *Благова Г.Ф.* Пословица и жизнь: Личный фонд русских пословиц в историко-фольклористической ретроспективе. М., 2000.

Винокур 1929 – *Винокур Г.О.* Проблема культуры речи // Русский язык в советской школе. 1929. № 5.

Вяльцева 1975 – *Вяльцева С.И.* Окказиональное использование английских пословиц // Исследование лексической сочетаемости и фразеологии. Сб. трудов МГПИ. М., 1975.

Гаврин 1973 – *Гаврин С.Г.* Эллиптические устойчивые сочетания как категория фразеологии // Ученые записки Пермского ГПИ. Т. 121. Пермь, 1973.

Даль 1984 – *Даль В.И.* Пословицы русского народа. Сб. в 2-х томах. Т. 1. М., 1984.

Дандис 1978 – *Дандис А.* О структуре пословицы // Паремнологический сборник. М., 1978.

Евгеньева 1975 – *Евгеньева А.П.* Введение // Словарь синонимов. Л., 1975.

Жуков 1987 – *Жуков В.П. и др.* Словарь фразеологических синонимов русского языка. М., 1987.

Жуков 2001 – *Жуков В.П.* Словарь русских пословиц и поговорок. М., 2001.

Крикманн 1978 – *Крикманн А.А.* Некоторые аспекты семантической неопределенности пословиц // Паремнологический сборник. М., 1978.

Кунин 1970 – *Кунин А.В.* Английская фразеология (теоретический курс). М., 1970.

Кунин 1972 – *Кунин А.В.* Фразеология современного английского языка. М., 1972.

Мелерович, Мокиенко 2001 – *Мелерович А.М., Мокиенко В.М.* Фразеологизмы в русской речи. М., 2001.

Метева 1991 – *Метева Е.* Русский фольклор. София, 1991.

Наймушина 1984 – *Наймушина Т.А.* Пословицы и поговорки в художественном тексте. Автореф. канд. дисс. Л., 1984.

Панина 1986 – *Панина Л.С.* Образование фразеологических единиц на базе русских пословиц в русском языке. Автореф. канд. дисс. Ростов-на-Дону, 1986.

Пермяков 1988 – *Пермяков Г.Л.* Основы структурной паремнологии. М., 1988.

Райхштейн 1971 – *Райхштейн А.Д.* Немецкие устойчивые фразы. Л., 1971.

Савенкова 1989 – *Савенкова И.Е.* Структура и семантика пословиц и поговорок современного русского языка. Автореф. канд. дисс. М., 1989.

Савицкая 1962 – *Савицкая С.Н.* Об устойчивости фразеологических единиц // Вопросы теории английского и немецкого языков. Киев, 1962.

Селянина 1970 – *Селянина Л.И.* Варианты пословиц английского языка. Автореф. канд. дисс. М., 1970.

Тарланов 1999 – *Тарланов З.К.* Русские пословицы: синтаксис и поэтика. Петрозаводск, 1999.

Федосов 1974 – *Федосов И.Л.* Вариантность и функционально-стилистическая синонимия фразеологических единиц // Вопросы языкознания. 1974. № 6.

Чешко 1975 – *Чешко Л.А.* О синонимах и словаре синонимов русского языка // Александра З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1975.

Шанский 1972 – *Шанский Н.М.* Лексикология современного русского языка. М., 1972.

Kuusi 1966 – *Kuusi M.* Ein Vorschlag für die Terminologie der paromiologischen Strukturanalyse // Proverbium. 1966. № 5.

Mieder 1985 – *Mieder W.* Popular views of the proverb // Proverbium. 1985. № 2.

Norricks 1985 – *Norricks N.R.* How proverbs mean. Semantic studies in English proverbs. Amsterdam, 1985.

## БЕЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ДАТЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТА И ПРЕДИКАТИВОМ НА -О В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ

0. Целью настоящей статьи является сопоставление продуктивности дативной модели с предикативом на -о в русском и болгарском языках. Поскольку продуктивность модели связана с объемом и характером деривационной базы для ее предиката, особое внимание мы обратим на наличие коррелятивной связи между предикативом на -о и качественным прилагательным. Дативная модель будет рассмотрена на фоне ее парадигматических связей. В частности, мы исследуем корреляцию этой модели с синонимичной подлежащей конструкцией.

Структурно-семантические свойства русских конструкций типа *Мне грустно* достаточно хорошо изучены и описаны. А.В.Циммерлинг со ссылкой на работы [Булыгина 1982; Селиверстова 1982] определяет предикаты таких предложений как «выражения, указывающие на пребывание субъекта в некотором неизменном состоянии, не являющемся результатом чьего-либо непосредственного воздействия, в течение некоторого отрезка времени» [Циммерлинг 2010: 549]. Исследователь выделяет среди русских адъективных основ три класса: от основ первого класса, актантно-поляризованных, образуются выражения, называющие свойства референта (*злобный, гневный*), но не образуются предикативы, представляющие ситуацию в целом (*\*мне злобно, \*мне гневно*); основы второго класса, ситуативно-поляризованные, производят только предикативы (*Х-у стыдно, совестно*, но *\*стыдный, \*совестный*); основы третьего класса амбивалентны (*веселый, скверный; весело, скверно*). Лексические значения образованных от амбивалентных основ прилагательных и предикативов могут не различаться (*скверный – скверно*) и различаться (*паршивый – ему сейчас паршиво*). Противопоставление классов производящих основ, по мнению автора, имеет большое значение для типологии именных предикативов [Циммерлинг 2010]. По подсчетам А.В.Циммерлинга, в русском языке «ситуативно-поляризованных адъективных основ класса *стыдн-* мало, имеется большое число актантно-поляризованных основ, от которых предикативы ситуативного признака образовываться не могут, а продуктивность ДПС [дативно-предикативных структур – А.Г.] поддерживается амбивалентными основами класса *грустн-*» [там же: 557].

Так называемые амбивалентные именные основы могут производить прилагательные и предикативы на -о, образующие синонимические конст-

рукции по типу *Он грустен – Ему грустно*. Нас будет интересовать именно такой тип соотносительности.

На соотношенность безличных структур типа *Ему грустно* с двусоставными предложениями типа *Он грустен* в научной литературе указывалось в связи с разработкой общих семиологических концепций [Мартынов 1982]; вопросов, касающихся изучения средств выражения в русском языке субъектно-объектных отношений [Пупынин 1992], исследования и описания дистинктивных значений, различающих синонимические синтаксические конструкции [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998] и др.

По мнению Г.А.Золотовой, модели *Ему грустно, весело, беспокойно* и *Он грустен, весел, неспокоен* различаются по признаку *внешняя выявленность/невыявленность состояния лица*. Маркированной по этому признаку является только вторая модель, сообщающая о внешней выявленности состояния [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 192-193]. Подчеркнем, что речь идет о значении модели предложения, но не о семантике структурной схемы в том понимании этой семантики, которое предложено в концепции академической «Русской грамматики» [Русская грамматика 1982: 87].

Значение прилагательных, образующих данную модель, включает указание на восприятие наблюдателя, отличного от субъекта названного состояния. Такие прилагательные можно отнести к разряду слов со «стереоскопической» семантикой, которые, по словам Е.В.Падучевой, «предполагают взгляд на ситуацию как бы с нескольких различных точек зрения» [Падучева 1985: 140].

Е.С.Яковлева называет подобные предикаты «эпистемически отмеченными», задающими не только характеристику субъекта, но и «модальную перспективу» высказывания и в принципе не использующимися в контексте ментальных предикатов пропозициональной установки [Яковлева 2003: 142-143]. Ср.: *Я вижу, что он грустен* и *\*Я думаю/предполагаю, что он грустен*. Следует, однако, уточнить, что слова, семантика которых включает компонент «непосредственное восприятие внешнего наблюдателя», невозможны только в сфере действия ментальных предикатов типа *думать, предполагать*, вводящих так называемую нехарактерную информацию. «Информация о событии А, – пишет Е.С.Яковлева, – является для Г [говорящего – А.Г.] нехарактерной, если на ее основе Г не может судить об А без привлечения логического вывода». Соответственно характерная с точки зрения говорящего информация «позволяет ему судить об А непосредственно без привлечения логического вывода» [Яковлева 2003: 131]. Кроме сенсорных предикатов, характерную информацию могут вводить и предикаты ментальные: *Я вспомнил, что он был грустен; Мне ка-*

*жется, что он грустен.* Последний пример передает ситуацию, в которой говорящий из-за недостаточности визуальной информации не гарантирует объективности сложившегося у него мнения.

Модель с типовым значением *субъект и его внешне выявленное состояние (Он грустен)* представляют, однако, не все предложения с именительным субъекта, коррелирующие с дативными конструкциями. Предикаты физиологического состояния (*голоден, сыт*), удовлетворенности/ неудовлетворенности (*счастлив, несчастлив*), зависимого/ независимого состояния (*свободен, волен*), состояния в условиях изоляции (*одинок*) не включают в свою семантику компонента «непосредственное восприятие внешнего наблюдателя». Ср. вполне корректные предложения: *Он голоден, но не показывает этого; Он несчастлив/ одинок, но скрывает это; Я думаю/ предполагаю, что он голоден/ несчастлив/ одинок.*

В возможности преобразований типа *Мне скучно – Я скучен* В.В.Мартынов видит подтверждение того, что предикатив на *-о* является формой прилагательного. Невыводимость конструкций с прилагательными (*Я легко*) из бесподлежащих (*Мне легко*) объясняется «узкими ограничениями, накладываемыми на данные прилагательные» [Мартынов 1982: 21-22]. Ср. также: «Предложение *Мне холодно* не имеет “активного” трансформации в силу дефектности самого предикатива» [там же: 16].

Высказывались предположения о том, что невозможность вывода подлежащей конструкции с прилагательным из предложения с дательным субъекта состояния связано с семантикой оценки. Так, Ю.А.Пупынин обращает внимание на отсутствие коррелятивных подлежащих конструкций у бесподлежащих предложений с такими предикатами, как *неприятно, мерзко*, т.е. предикатами, которые характеризуют состояния, оцениваемые как дискомфортные [Пупынин 1992: 49]. В конструкции с прилагательными, однако, нельзя трансформировать и предложения типа *Ему легко, Ему отрадно, Ему приятно, Ему хорошо*, предикаты которых выражают положительную оценку состояния.

Используемый далее иллюстративный материал взят из электронных корпусов русских и болгарских текстов, электронных библиотек, форумов различных по назначению русскоязычных и болгароязычных сайтов, а также из других сетевых источников. Для определения состава предикатов, валентных на дательный или именительный падеж субъекта состояния, были привлечены данные двух выпусков «Системного семантического словаря русского языка» Л.М.Васильева [Васильев 2000 а; Васильев 2000 б].

1. В современных русском и болгарском языках корреляция по типу *Ему грустно – Он грустен, Тяжно му е – Той е тъжен* свойственна отно-

сительно небольшому числу нормативных конструкций. Количество соотносительных пар тем не менее увеличивается за счет включения в них субнормативных построений.

Далее мы покажем зависимость образования коррелирующих конструкций от семантики их предикатов.

**1.1.** Обычно не трансформируются в предложения с субъектом в номинативе и предикатом-прилагательным русские и болгарские конструкции с дательным субъекта и предикатом физического или физиологического ощущения (об исключениях см. ниже).

В число таких конструкций входят построения с предикативами, обозначающими ощущения перегрева и переохлаждения: *Ему жарко, Ему холодно, Ему зябко; Да, не зря все это он мне рассказывает, – подумал Нейман и почувствовал, что ему стало горячо, как перед баней* (Ю. Домбровский); предложения со значением состояния окружающей среды, оцениваемого субъектом на основе своих ощущений: *Вам на палубе жарко, а в каюте душно, а мне прохладно и под этой смоковницей...* (К. Леонтьев); *Открываю окно, мне свежо, закрываю окно, духота* (Д. Завалишин); *Здесь мне жарко, тут мне сыро, Я объехала полмира...* (Л. Дорофеева); *Им там прохладно и хорошо, а мне мокро* (Н. Граник); *Поэтому мне сейчас очень, очень тепло. Мало того, мне сухо. Я загораю* (А. Зотов). См. также предложения, обозначающие воспринимаемое субъектом посредством зрения световое состояние среды: *Мне темно. Подняв глаза от тетрадки, я придвигаю лампу на край стола* (А. Цветаева); *Скоро нам будет светло, – сказала проводница, – мы подходим к месту, где поставила я светильник* (Н. Гоголь). Ср. болг.: *Горецо му е; Студено му е; «Задушно ми е»* – каза Корот (К. Фиалковски, перевод с польск. М. Ивановой); *«Дядо, не ти ли е топло с тия дрехи?» – «Топло ми е, синко, ама то не е от дрехите, а от времето. Аз и зимата съм с тия дрехи, ама тогава не ми е топло!»* (4coolpics.com); *Някой си е затворил очите, тъмно му е и не може да ходи* (beinsadouno.com); *...виждам небето-земята-небето-земята... черно ми е, светло ми е... летя по скалите сякаш час, а съм се спуснала за минута...* (moetoselo.blogspot.com) и под.

Модель с дательным экспериенцера включает и отдельные предикаты звучания: *«Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука...»* (А. Чехов); *Мне отвратительно свободно, Мне гулко, страшно и темно* (А. Живило); *Ему было тихо, спокойно, он жил в своем ирреальном мире, и ни войны, ни катастрофы окружающего мира не волновали его* (Г. Лесская). Часто контекст способствует психологизации семантики подобных предикатов. То же в болгарском: *«Не обичам много дискотеки и*

барове – **шумно ми е и безинтересно**» (газ. 24 часа); **И тихо ми е** някак. Чакам зимата, а пиша вече края на романа си... (П.Гатева).

Не имеют трансформов с субъектом в номинативе также следующие русские и болгарские бесподлежащные конструкции:

– предложения с предикатами тактильных ощущений: *Он повозился на чурбане. – Здесь мне **твердо**...* (В.Крапивин); *Я очнулся после долгого сна и продолжал неподвижно лежать. Мне **было мягко** и уютно, разве что немного тесно* (И.Шишкин); *Кстати, в директорской ложе оказались <...> страшно некомфортные простые стулья <...>. Наверное, считается, что человек, попадающий сюда, настолько увлечен музыкой, что не должен замечать ничего вокруг. Но мне **было жестко**, а потом заболел позвоночник* (Д.Донцова); *Утром меня в садик тащит за руку, а мне **колко**, босиком бегал* (В.Севастьянов); *«Абе **кораво** ми е <...>, повече сено май че трябваше да си подложаш!»* (Н.Хайтов); *Чувствам се като муха в пудра, **меко** ми е, но не мога да подскоча* (pepitzankov.com); ***Бодливо** ми е. <...> Горят нозете. След луната тичам* (hulite.net). Нормативность части подобных конструкций у носителей как русского, так и болгарского языков вызывает сомнения, тем не менее их фиксации в текстах не могут быть игнорированы;

– предложения с предикатами мускульных ощущений: *Мне **было тяжело** – завхоз добавила мне в рюкзак сумку с общественными продуктами* (П.Семионов); *Мама, давай я возьму у тебя сумку, а ты меня возьмишь на руки – тебе **легче** будет* (handy.ru); *Леле, не мога да си нося килата – **тежко** ми е, хора, какво да правя* (mama.btv.bg); *Чувствам се добре с килограмите си, **леко** ми е, обичам да се движа* (anikrush.wordpress.com);

– предложения с предикатами вкуса: *Человек в шоколадном котелке только рассмеялся, отломил еще кусочек и стал себя гладить по животу: так ему **было вкусно*** (Э.Кестнер, перевод); *У меня повышенная кислотность. При слове «лимон» мне **кисло** от языка до кончиков ногтей* (А.Маслов); *Бебето лакомо прие храната. **Вкусно** му беше* (Р.Бредбъри, перевод Н.Константиновой); ***Солено** ми беше. Изпих 1 литър вода след 1/4 кофичка сирене* (archives.bg-mamma.com); ***Горчиво** ми е, а като сложаш много захар, пък ми е много **сладко*** (club.biberonbg.com).

При обозначении конкретных вкусовых ощущений, однако, чаще используются другие синтаксические модели. Ср.: *Лимоны были общественным достоянием <...>. Еще и сейчас, когда вспоминаю об этом, **во рту у меня кисло*** (В.Пономарева); ***Вино кислит*** (Толковый словарь Ожегова); *...тут ему показалось, что у него **горчит во рту*** (И.Ковальчук); *Може малко бяло вино, ама аз не си падам по него, защото **ми киселее*** (газ.

Лична драма); «*Пък и инак не ми е добре, горчи ми в устата, таквоз ми е едно... никакво*» (Й.Йовков) и др.

– предложения с предикатами болевого ощущения или ощущения физиологического дискомфорта типа русских *Ему больно, Ему плохо*<sup>1</sup>, *Ему дурно, Ему муторно, Ему тошно* и под. В болгарском языке имеется точный эквивалент русских *Ему плохо/ дурно – Лошо му е*. Вместе с тем другим русским конструкциям в болгарском соответствуют только безличные структуры с глагольным предикатом: *Боли го, Гади му се, Повдига му се*.

Если конструкция с дательным субъекта используется при передаче общей оценки физиологического состояния – *То больному хорошо, то ему страшно плохо* (М.Гир, перевод); *Когда пациенту нехорошо, он может сам вылечиться, регулируя собственную истинную ци* (qigong.ru); *Помощнику было скверно: ныла рука, но еще больше разболелись от холодной воды ноги* (Б.Казанов); *Беше сряда, съпругът ми отиде до клиниката, защото му беше лошо* (газ. Скандално), – то значение ‘субъект находится/ не находится в болезненном состоянии’ выражается личной моделью с прилагательным: *Он болен/ здоров/ нездоров; Той е болен/ здрав/ не е здрав*. Эти личные конструкции не имеют безличных коррелятов.

В русской нормированной речи конструкции с дательным экспериментера и предикативом на -о не употребляются для обозначения общих физиологических состояний сна, усталости, опьянения и под. Для передачи этих значений активно используются подлежащие структуры с прилагательными: *А был он сонный и мертвецки пьяный* (М.Стеблин-Каменский); *Но всё с годами пропадает. Теперь он немощен, забыт* (Н.Малинский); *И после этого Примаков хотел говорить только о том, что он бодр и здоров* (Е.Киселев); *Судья был трезв* (газ. Ставропольская правда); *Он был хмелен, но говорил речисто и бойко* (Ф.Достоевский) и т.п.

Современные тексты, однако, содержат окказиональные обозначения этих состояний посредством безличных конструкций с предикативом на -о: *А мне пьяно, мне до сих пор пьяно. Вчерашняя ночь... разбита посуда, разбросаны вещи...* (Л.Славная); *Забери меня отсюда... Мне пьяно и одиноко...* (forum.kia-club.ru); *А я ломаю тело дважды в день, Хоть иногда мне немощно и лень* (В.Федоров). Ср. то же в болгарском: *Аз като ми е пияно, ми е най-яко на пързалката...* (forums.data.bg). Таким образом об-

<sup>1</sup> Эта русская конструкция претендует на соотносительность с разговорной *Он плох* ‘о больном, не подающем надежд на выздоровление’, хотя семантическое расстояние между этими предложениями превышает то, которое диктуют структурные различия моделей.

разуются соотносительные пары типа *Я пьян/ Мне пьяно*, второй член которых, однако, нарушает литературную норму.

В русской коррелятивной паре *Ему голодно – Он голоден* оба члена нормативны. Если считать конструкции типа *Нам сыто* не нарушающими литературную норму, то аналогичную пару составляют и предложения *Нам сыто<sup>2</sup> – Мы сыты: Где им сыто и спокойно – там их Родина* (itogi.ru); *Уродись, жито, чтоб нам было сыто* (поговорка) – *Я ловил рыбу, крал у малороссиян овец, и мы были сыты* (В.Нарежный). Болгарская конструкция *Гладно ми е* («Яж!»). Златушка поклати глава с отвращение: «*Не ми е гладно*». А.Каралийчев) оценивается носителями языка как ненормативная. Литературной и нейтральной является личная структура *Аз съм гладен/ Гладен съм*. См., например: «Изрази като ‘*гладно ми е*’ и ‘*жадно ми е*’ са неправилни. Казваме ‘*тъжно ми е*’, ‘*странно ми е*’, но ‘*гладен съм*’, ‘*жаден съм*’» (pippilotamentolka.wordpress.com). Нарушающей норму признается и встречающаяся в болгарских электронных текстах безличная конструкция с предикативом *сито*: *Сито ми е в момента. Топла супа от спанак хапнах преди малко* (forum.all.bg). Нормативно только личное предложение *Аз съм сит/ Сит съм*.

В русской речи последнего времени широкое распространение получила дативная конструкция с предикативом *лениво*, обозначающая физическое и ментальное состояние лица: *А мне лениво, но что делать – поехал спасать-помогать...* (bigler.ru). Предикатив коррелирует с прилагательным *ленивый*, называющим свойство человека. Конструкции с *лениво* все еще признаются нелитературными. В этом отношении показательны ответы лингвистов на вопросы пользователей справочно-информационных порталов. См., например: *Вопрос*: «Мне как филологу режет ухо выражение *Мне лениво*, считаю, что единственно правильный вариант *Мне лень*. Права ли я?». *Ответ справочной службы русского языка*: «Действительно, литературный вариант – *мне лень*. Просторечный – *мне лениво*» (Грамота.ру, gramota.ru); ср. также ответ сотрудника Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН на аналогичный вопрос: «Такое употребление не является нормативным, литературным. Так говорить и писать не следует» (Русские словари, slovari.ru).

Интересно, что в болгарском языке аналогичная дативная конструкция *Мързеливо ми е*, соотносящаяся с личной *Аз съм мързелив/ Мързелив*

---

<sup>2</sup> Отметим случаи использования в конструкции с дательным субъекта и предикатива *сытно*: *С ними мне сытно, а значит весело* (А.Яковлев); *Ему было сытно и хотелось полежать* (А.Шопенков). Ср.: \**Он сытен*.

съм, также получила распространение в разговорной речи, несмотря на наличие в языке двух нормативных и имеющих то же значение одноставных структур – именной *Мързел ме е* ‘Мне лень’ и глагольной *Мързи ме*: ...*днес не сме излизали, дори на двора, просто не ми се прави нищо, не съм в депресия, мързеливо ми е...* (archives.bg-mamma.com). Вероятно, этот факт следует считать еще одним свидетельством экспансии дативной модели.

В составе болгарского безличного предложения с семантикой физического или физиологического состояния возможен предикатив, образованный от основы *причастия*, ср. довольно распространенные в современном языке употребления типа *Даже и не се наспах като хората, уморено ми е сега* (freeforum.politoloji.com) – *уморено ми е* ‘чувствую себя утомленным, уставшим’; *Мога доста да ти кажа по въпроса, но както споменах – изморено ми е в момента и засега толкоз* (bulforum.com); *Седмицата ми е повече от претоварена, скапано ми е, в петък имам две състезания...* (kvadratnimechti.wordpress.com); *И най-интересното е, че веднага започват и физическите симптоми – отпаднало ми е, замаяно... и си казвам – не, не е само страх, наистина ми е зле* (strahove.evropea.com); *Замаяно ми е и ми се гади много...* (apteka.framar.bg). Среди предложений с предикативами на -о, образованными от основ причастий, носители болгарского языка отмечают как нормативные и нейтральные, так и нарушающие литературную норму построения. Такие предложения имеют личный коррелят с причастным предикатом: *Уморено ми е – Уморен съм*.

1.2. Не имеют трансформов с субъектом в номинативе русские предложения с ментальными предикатами на -о типа *Ему понятно, Ему ясно, Ему памятно, Ему известно, Ему интересно*. Конструкции *Он понятен, Он ясен, Он памятен, Он известен, Он интересен* представляют ту же модель с ментальным субъектом в дативе и объектом (содержанием) в именительном падеже. Ср.: *Ему понятно наше положение, Ему понятна наша печаль, Ему понятен наш план, Ему понятны наши намерения, Он нам понятен* и т.п.

При необходимости расчлененного обозначения пропозитивного объекта последний оформляется посредством зависимой клаузы, причем позиция подлежащего в матричном предложении может заполняться соотносительным местоимением: *Всем понятно то, что рассказывается о Нероне у Тацита* (А.Мень). В этом отношении русский язык отличается, например, от английского языка, с обязательной фонетической реализацией подлежащего, только возможностью незаполнения позиции номинатива. Ср.: англ. *It is clear for him that...*

Существование предложений типа \**Он понятен* с ментальным субъектом в позиции подлежащего должно было бы быть обусловлено прагматической необходимостью в выражении семантики, отличной от значений, передаваемых конструкциями типа *Ему понятно*, *Он понимает* (ментальное состояние); *Он понял* (ментальный скачок); *Он понятливый* (свойство, качество субъекта). Однако возможности, связанные с категориальной и лексической семантикой прилагательного, а также со структурой модели, реализованные в случае с эмоциями – *Он весел* (субъект и его внешне выявленное состояние), – не были использованы для обозначения внешних проявлений ментальных состояний. Хотя такие проявления наблюдаемы (ср.: *По его глазам было видно, что он заинтересован делом*), потребность в их выражении не смогла привести к развитию у прилагательных типа *понятный*, *известный*, *интересный* значений, характеризующих субъекта ментального состояния и реализующихся в предложениях с именительным падежом этого субъекта. Показательно, что конструкции с предикативом *понятный* в XIX веке называли свойство одушевленного субъекта-подлежащего: *Всем был он доволен: и дочь понятна, и мельница хорошо мелет...* (С.Аксаков). В данном значении прилагательное *понятный* конкурировало с однокоренным *понятливый*. Эта конкуренция привела, однако, не к переосмыслению указанных структур с *понятный*, а к их архаизации.

Что касается конструкций с дательным ментального субъекта *Ему понятно*, *Ему известно* и под., то они сравнительно немногочисленны. В русском языке для обозначения ментальных состояний широко используются глагольные предложения с именительным падежом субъекта.

Аналогичная картина представлена и в болгарском языке. Конструкции типа *Ясно му е*, *Известно му е*, *Интересно му е* структурно не безличны и не трансформируются в предложения с субъектом в номинативе.

**1.3.** Не имеют подлежащих трансформов предложения с предикативами, характеризующими условия существования субъекта, оказывающие воздействие на его эмоционально-психическое состояние и поведение. См. русские предложения: *Там, где жизнь, ему привольно*, *Там, где радость, он и рад* (А.Твардовский); *Раздольно было и неугомной ребятне!* (газ. Вечерний Оренбург); *Все знает, что такое трамвайный хам. Как ему вольготно среди культурных и воспитанных людей* (Ю.Никитин).

Нельзя преобразовать в подлежащие и русские и болгарские конструкции с предикативами, содержащими оценку окружающей субъекта обстановки: *Ему удобно/ неудобно/ уютно/ комфортно/ тесно*, *Удобно/ неудобно/ уютно/ комфортно/ тясно му е*.

Не имеют соотносительных конструкций с дательным субъекта подлежащие предложения с предикатами имущественного состояния (*Он богат/ беден/ состоятелен/ зажиточен/ бездомен, То е богат/ беден/ заможен/ бездомен*); социального угнетения (*Он бесправен/ подневолен, Той е бесправен/ зависим*); функционального состояния (*Он работоспособен/ неработоспособен/ дееспособен/ недееспособен, Той е работоспособен/ неработоспособен*). Окказиональные употребления русских и болгарских безличных структур возможны при смещении семантики предиката в эмоционально-психическую сферу: *Господи, но какие чужие здесь дома! Как бездомно мне среди них. Выгоняют. Отовсюду выгоняют* (В.Горб); *Бездомно ми е. И съм страшно ничия. Изгубена, като монетка сред треви* (caribiana.blogspot.com).

Коррелятивные пары имеются в группе предикатов зависимого/ независимого состояния: *Мне свободно – Я свободен, Мне вольно – Я волен*. То же в болгарском: *Свободно ми е – Аз съм свободен/ Свободен съм, Волно ми е – Аз съм волен/ Волен съм*. Стоит отметить, однако, что как русские, так и болгарские безличные конструкции в этих парах не отличаются широкой употребительностью: *У меня были товарищи, с которыми мне было свободно и просто* (М.Арцыбашев); *Светлой ночью, под незакатным солнцем босиком шлепал я по мягкому приплеску, и вольно мне было* (В.Астафьев); *Грее слънце, свободно ми е...* (dsolved.blogspot.com); *Хубаво и волно ми е с теб!* (hulite.s802.sureserver.com). Другие предикаты той же группы не образуют соотносительных конструкций, ср. в русском языке: *Он самостоятелен/ несамостоятелен/ подвластен*, но: *\*Ему самостоятельно/ несамостоятельно/ подвластно*.

Широко распространены члены пары, обозначающие состояние субъекта в условиях индивидуальной изоляции: *Ему одиноко – Он одинок, Самотно му е – Той е самотен*.

2. Отдельно остановимся на конструкциях с предикатом эмоционально-психического состояния. Именно в этой группе имеется наибольшее число соотносительных пар.

Валентность на дательный падеж субъекта имеют многие русские и болгарские предикативы на *-о*, обозначающие эмоциональные и эмоционально-ментальные состояния: *Ему грустно/ весело/ радостно/ горько/ горестно/ обидно/ стыдно/ тоскливо/ страшно/ гнусно, Тъжно/ весело/ радостно/ горчиво/ обидно/ срамно/ страшно/ гнусно му е* и под.

Состояния, названные такими конструкциями, воспринимаются как распространяющиеся в пределах всего внутреннего мира (пространства) субъекта. Для эмоциональных и эмоционально-ментальных состояний такое восприятие характерно.

У предикатов типа *грустно, тягостно, печально* синтаксическая валентность на дательный субъекта может сочетаться с валентностью на зависимое *что*-придаточное: *Ему грустно, что мы уходим, смотрит на нас так жалобно* (И.Шмелёв); *Но мне печально, что ваше желание не сбудется* (С.Царевич)<sup>3</sup>. То же в болгарском: *Тъжно му е, че няма все още мъжкари, за да му продължат корена* (газ. Нов живот).

В болгарском языке такие предикативы, как *срамно, гнусно, страшно*, в настоящее время довольно редко употребляются в одноставной конструкции с субъектом в дативе: *Няма да сравнявам техните градове и села с нашите. Срамно ми е* (газ. Шанс експрес); *Гнусно ми беше, докато четях написаното от теб* (clubs.dir.bg); *Тежко му е, страшно му е, непоносимо му е и изведнъж го удря на смях – полудява* (Г.Братанов). Состояния стыда, отвращения, страха выражаются, в первую очередь, одноставными предложениями с предикативными существительными и субъектом в аккузативе<sup>4</sup>: *Срам го е, Гнус го е, Страх го е*, например: *На 29 септември Б.Б. показа, че все пак лекичко го е страх* (газ. Дневник). Конструкция с предикативом на *-о* может осознаваться носителями языка не только как менее употребительная, но и как ненормативная: «‘Страшно ми е’ по правило също не се употребява – правилното е ‘страх ме е’» (pippilotamentolka.wordpress.com).

Далеко не все семантические разновидности предикатов эмоционально-психического состояния представлены соотносительными парами.

---

<sup>3</sup> Возможность фонетического выражения подлежащего в пределах клаузы с дательным экспериенцера кажется, однако, сомнительной, а примеры типа *Еще мне грустно то, что мама в Москве очень беспокойна и нервна и осталась одна с малышами*. Т.Сухотина-Толстая [Пупынин 1992: 53] воспринимаются как нарушающие строгую норму. Проблематичность соотносительного *то* как поверхностного подлежащего в конструкциях, подобных приведенным, говорит в пользу сирконстантности *что*-придаточного. Называющие причину эмоционального состояния субъекта *что*-придаточные достаточно распространены. Они свидетельствуют о прежней многозначности союза *что*, активно использующегося в истории языка для присоединения придаточных причины. Эмотивы в предложениях без экспериенцера в дативе (*И, конечно, очень грустно то, что на религиозной почве происходят какие-то конфликты*. О.Усманов; *Печально то, что эта проблема существует и в рериховском движении*. Ю.Ключников) семантически сближаются с чисто оценочными предикатами типа *плохо, хорошо*.

<sup>4</sup> По мнению И.Георгиева, различия в падежном оформлении субъекта – винительный в болгарском и дательный в русском (*Ему жаль*) – «являются результатом самостоятельного функционирования предикативов в системе нетождественных лексико-семантических и синтагматических связей» [Георгиев 1976: 21].

**2.1.** Коррелируют конструкции с предикатами радости/ печали, волнения, настроения, удовлетворенности/ неудовлетворенности: *Ему весело – Он весел, Ему радостно – Он радостен, Ему грустно – Он грустен, Ему скучно – Он скучен, Ему спокойно – Он спокоен, Ему беспокойно – Он беспокойен.* См. также: *Ему покойно (Ему **покойно** в эту минуту, и он счастлив от близости с самым дорогим для него человеком – отцом. В.Башков) – Он покоен (Не радостен он **был**, нет, а просто **покоен**. Ю.Казаков); Ему беспокойно (А **было** ему **беспокойно** по нескольким причинам. В.Набоков) – Он беспокойен; Ему печально (Ему **было печально** оттого, что мир его медленно умирал. М.Филиппов) – Он печален; Ему тревожно – Он тревожен (Дайте гостю водки, он ослабел, **тревожен**, болен. М.Булгаков); Ему уныло (И ему **стало уныло** и все показалось мрачно. Л.Толстой) – Он уныл.*

Возможны и другие коррелятивные пары, хотя употребления, подобные некоторым из приведенных ниже, нельзя отнести к числу частотных. Ср.: *А тут им **безмятежно**, а глядя на них – и нам **было безмятежно**...* (В.Рыбаков) – *Постороннему могло бы показаться, что он **безмятежен**, но его душа все время ныла...* (narod.ru); *Мне **было нервно** весь день* (aldebaran.ru) – *Он **нервен**, он влюблен, и счастлив, и несчастлив* (Е.Корш); *Мой ангел, мне **пасмурно** и одиноко* (А.Журбин) – *В вагоне он **был пасмурен**, и его черный костюм казался трауром* (К.Чуковский); *Шел дождь, и было мрачно, а мне **было мрачно** вдвойне* (ostric.ru) – *Как ни старался Левин преодолеть себя, он **был мрачен** и молчалив* (Л.Толстой); *Ей **было сумрачно** и странно, И чтоб скорей развеять сплин, Она была с друзьями* (vzmakh.ru) – *Почему-то он **был сумрачен**, хромал на правую ногу...* (А.Куприн); *Почаще вспоминайте царя Соломона. Когда ему **было кисло**, он поворачивал на пальце кольцо, украшенное мудрейшей надписью: «И это пройдет»...* (Г.Прашкевич) – *Ага, опять этот идёт, какой-то он **кислый** сегодня* (В.Истомин); *Ему **было счастливо** и прекрасно посреди этой желтой стены...* (В.Угрюмова) – *Он **был счастлив** в эту минуту* (Л.Гунин); *Везет несчастным писателям! Им **несчастливо**, а они пишут. <...> А мне, бедняге, и **несчастливо**, и писать не умею* (pelevin.nov.ru) – *В глубине души он **был несчастлив** и недоволен жизнью* (М.Николаев); *Почему ж мне **несчастно**?* – спросил Юрий (К.Тарасов) – *О том, что я **несчастен**, врут* (Б.Окуджава); *Всё же мне **скорбно** от этой потери* (Д.Малиновский) – *Геннадий Зюганов **был скорбен**, как комендант павшей крепости* (grani.ru) и др.

В болгарских текстах фиксируются соответствия почти всех приведенных выше русских корреляций. Ср.: *Радостно му е – Той е радостен,*

*Тъжно му е – Той е тъжен, Неспокойно му е – Той е неспокоен, Нервно му е – Той е нервен* и т.п.

Что касается болгарских предложений с прилагательным и третьеличным субъектом в номинативе (*Той е тъжен*), то конструкции, имеющие русские соответствия с семантическим компонентом «непосредственное восприятие внешнего наблюдателя», тоже включают в свою семантику этот компонент<sup>5</sup>.

**2.2.** Основная масса русских построений с предикативами на *-о*, называемыми эмоциональные и эмоционально-ментальные состояния лица, не имеет в современном языке семантически соотносимых коррелятов с прилагательными. Так, *Ему досадно* не преобразуется в *Он досаден*, *Ему страшно* – в *Он страшен*, *Ему тягостно* – в *Он тягостен*. Не имеют также трансформов с прилагательными бесподлежащие предложения с предикативами *боязно, гадко, горько, забавно, жалко, жутко, разг. классно* (*Как ему было классно! Не нужно было думать ни о чем... С.Кузнецов*), жарг. *клёво* (*Если кто-то прётся от любой музыки, то ему клёво... metallica.ru*), разг. *конфузно* (*Посмотрите на экран – я не рискую это зачитывать вслух, все-таки я барышня, и мне **конфузно***. О.Романова), *легко* (*Ему было очень легко и покойно впервые за этот сумбурный, напряженный и страшный день*. Стругацкие), *мерзко*, прост. *муторно* (*И отчего-то мне уже и стыдно, и **муторно**, и страшно*. Журн. Огонек), *неловко, неудобно, обидно, огорчительно* (*И ему было **огорчительно** вдвойне, поскольку он подвел не только себя, но и команду*. dvglobal.by.ru), *отрадно*, разг. *пакостно* (*В душу к нему не влезешь, но... можно легко догадаться, что, вероятно, ему было **пакостно** и тяжело*. Н.Васильева), простореч. *паршиво* (*Ему было **паршиво**, но чувство выполненного долга и какое-то ощущение «не зря прожитого дня» скрашивало непонятную внутреннюю тоску*. М.Мейстер), *плохо*, разг. *погано, прекрасно* (*Ему было **прекрасно** и без вина*. Д.Коуль), *приторно* (*Но сегодня ему было **приторно**, явно **приторно**, и что еще больше пугало, становилось все противнее и противнее*. А.Давыдова), *приятно, противно, светло* (*Все голодной тоскою изглодано, Отчего же нам **стало светло?*** А.Ахматова), *скверно, славно* (*И друзей у меня было бы полно, <...> и мне было бы хорошо, и им было **славно***. И.Смокнутовский), *сладко* (*Ей было и тошно, и стыдно, и **сладко***. Ф.Достоевский), *смешно, совестно, стыдно, томительно* (*Когда пурга*

---

<sup>5</sup> Отметим также, что в болгарском языке не существует оппозиции полных и кратких форм прилагательных, а следовательно, и возможности выражать посредством этого противопоставления постоянные характеристики и преходящие состояния.

лицо запорошит, *И станет мне томительно и сладко*. М.Зайцев), *тошно, тяжело, тяжко, удивительно, хорошо*, простореч. *хреново, худо, чудно* (Мне **чудно**, мне страшно **было**, когда я слушала эти рассказы, – говорила Катерина. Н.Гоголь), *чудно* (*И так мне чудно, так хорошо!.. У меня впервые в жизни характерная роль*. Е.Добровольская) и нек. др.

Болгарские соответствия этих русских предикативов – *гадно, забавно, жалко, конфузно, криво, леко, лошо, обидно, приятно, светло, тяжело, тъпо, хубаво, чудно* и т.п. – также образуют безличные конструкции, не коррелирующие с подлежащими. См., например: *А на Алонсо не си мислете, че му беше приятно, знам го как се радва друг път, знам и сега как го направи... Много гадно му беше...* (formula1.sportal.bg); *Криво ми е, одрах колата в кофа за боклук!* (archives.bg-mamma.com); *Тъпо ми е от сутринта* (xns.blogspot.org); *Светло ми е... И хубаво... И усмихнато...* (anastasiia.blog.bg) и под.

Среди однокоренных предикативам прилагательных, использующихся в несоотносительных с дативными личных конструкциях, выделяются, в первую очередь, общеоценочные слова с основами, которые не эксплицируют виды эмоций<sup>6</sup>: *плохой*<sup>7</sup>, *хороший, нехороший, прекрасный*, разг. *классный, чудный, славный, скверный*, разг. *худой* ‘плохой’, разг. *накостный*, разг. *поганый*, простореч. *хреновый*, простореч. *паршивый*, жарг. *клёвый*. Являясь предикатами подлежащих конструкций, прилагательные, подобные приведенным, выражают оценку кодированного номинативом участника ситуации. Образованные от таких прилагательных предикативы на *-о* в соединении с дательным субъекта формируют модель с типовым значением *оценка состояния субъекта*: *Ему хорошо, Ему скверно* и т.п. Контекст уточняет вид состояния. Здесь мы имеем в виду доминирующее значение оценки, не забывая о том, что оценочный компонент содержит и специфицирующие эмоционально-психические состояния предикаты [см.: Вольф 1982].

Не имеющие валентности на субъекта эмоционально-психического состояния прилагательные типа *муторный, тошный, сладкий, приторный*,

<sup>6</sup> Еще раз обратим внимание на то, что значительная часть прилагательных, способных коррелировать с называющим состояние субъекта предикативом на *-о*, обозначает виды эмоционально-психических состояний, чувств, настроений (*радостный – радость, грустный – грусть, скучный – скука, скорбный – скорбь* и т.д.). Прилагательные *спокойный* и *безмятежный* называют признак субъекта, пребывающего в состоянии спокойствия – зоне, представляющей точку отсчета, «норму» на шкале эмоциональных состояний.

<sup>7</sup> Ср., однако, уже упоминавшуюся выше возможность *Ему плохо – Он плох* (о тяжелом физическом состоянии).

*тяжелый*<sup>8</sup>, *тяжкий* также не способны указать на конкретные виды эмоций. Их производные значения метафоричны. Ср., однако, так же метафоричные *Он мрачен/ сумрачен/ пасмурен, Он кислый*.

Возможно, отсутствие в современном языке подлежащих трансформов с прилагательными у конструкций типа *Ему стыдно, Ему совестно, Ему жалко, Ему обидно, Ему приятно, Ему забавно, Ему удивительно, Ему гадко, Ему мерзко* связано с тем обстоятельством, что семантика подобных предикатов характеризуется значительной степенью ментальности и включает компоненты со значением интеллектуальной и этической оценки. Так, например, по словам Анны Зализняк, внутреннее состояние, обозначаемое предикатом *сожалеть*<sub>1</sub>, «охватывает довольно широкий диапазон – от эмоционального переживания до мнения (включая все промежуточные возможности, т.е. состояния, содержащие элементы того и другого)» [Зализняк 2003: 109-110].

В конструкциях типа *Мне мерзко, что ко мне придут все родственники, чтобы поест и попить, а не порадоваться со мной* (ciaosasaо.it); *Им стыдно, что они, здоровые и сильные, не могут обеспечить семью* (И.Лулева) *что-придаточное* называет не только причину состояния субъекта, но и объект его оценки. [О соотношении модальной рамки оценки и структуры ситуаций, включающих эмоциональные состояния, см.: Вольф 1989: 60.]

Группа несоотносительных с личными бесподлежащих дативных предложений постоянно пополняется в русском и болгарском языках за счет продуктивности модели, вовлечения в нее новых типов предикатов. Так, в метафоричных значениях в этих конструкциях в настоящее время нередко используются предикаты цвета: *Без вас мне было серо и грустно* (hippynefor.fastbb.ru); *Че-то просто чересчур фиолетово-черно мне сейчас* (stihl.ru); *Черно ми е много и всичко ме дразни* (forum.bg-mamma.com); *Скучна съм, сиво ми е и само чистя* (hulite.net); *Хубаво ми е с тебе. Като в Рио де Жанейро. Синьо ми е едно такава*<sup>9</sup>. *Понякога чак ми е виолетово* (И.Груев).

Некоторые прилагательные, не использующиеся в коррелирующих с дативными конструкциях в современном русском языке, могли называть признак экспериенцера в более ранние периоды языкового развития. См. приводимый Словарем русского языка XVIII века пример использования

---

<sup>8</sup> Ср., однако, *тяжелый больной* (о тяжелом физическом состоянии).

<sup>9</sup> Возможный в составе болгарской конструкции компонент *едно такава* содержит маркеры среднего рода, но не может претендовать на роль формального подлежащего, поскольку является выразителем модальных значений.

прилагательного *горький*: *Екатерина Григорьевна, как ни горька, поручила мне вас поздравить с новым годом*. Архив кн. Ф.А.Куракина (вып. 5). Этот словарь отмечает также значение ‘веселый’ у прилагательного *забавный*: *Должно быть забавным в обществе*. Зритель (вып. 7). См. и отмеченное в Словаре русского языка XI-XVII вв. сочетание *обидные люди* в значении ‘те, которых обидели; обиженные’ (вып. 12); ср. приводимое 17-томным Словарем современного русского литературного языка просторечное значение прилагательного *обидный* – ‘обиженный, оскорбленный’.

В современном русском языке прилагательные *конфузный* и *прискорбный* не имеют валентности на экспериенцера. См., однако, в XVIII – XIX вв.: [Из рапорта генерала Ушакова:] *Шетардий... при прочтении экстракта столь конфузен был, что ни слова во оправдание свое сказать или что-либо прекословить мог* (С.М.Соловьев. История России с древнейших времен); *В который день приходящих бедных более бывало у него [Св. Тихона], и когда большие раздаст денег и прочего, в тот вечер он веселее и радостнее был; а в который день мало или никого не было, в тот день он прискорбен был* (Записки Чеботарева 1809); ср. также использование прилагательного *конфузный* в XIX в. со значением свойства: *Экой ты ведь конфузный какой! Пей!* (А.Чехов).

Современные толковые словари не отмечают у прилагательных *горестный* и *тоскливый* валентности на экспериенцера. Случаи использования этих слов с такой сочетаемостью в настоящее время редки. См.: *Каждый человек чаще счастлив, чем горестен. Просто неудачи дольше помнятся* (В.Софронов); *В отделении первые дни был тосклив, несколько тревожен, во время беседы с врачом плакал, жаловался* (Острые эндогенные психозы); *Он был даже не печален, он был тосклив. Да и мне было тоскливо* (В.Березин). Ср. в языке XVIII в.: *Горестен сам Тилемах, и уныл, и крайню печален*. Третьяковский (Словарь русского языка XVIII века). Значение ‘предающийся тоске; грустный’ фиксирует у слова *тоскливый* Словарь церковнославянского и русского языка 1847 года (т. 4).

Причины архаизации такой валентности для каждого из прилагательных, очевидно, различны.

Таким образом, ограничение числа коррелятивных пар в современном языке происходит за счет архаизации значений некоторых прилагательных.

**2.3.** Тексты наших дней содержат примеры, иллюстрирующие обратный процесс – увеличение количества соотносительных конструкций за счет распространения в языке в большей своей части субнормативных дативных предложений с предикативом на -о.

В нормированном литературном языке конструкции с субъектом эмоции в номинативе и предикатом-прилагательным могут не иметь коррелятов с дательным экспериенцера. См., например, *Он зол, Он сердит, Он гневен (Царь гневен на него за то, что он изменник, ушел в страну чужую. М.Булгаков)* – предложения с предикатом эмоционального отношения. При таком предикате, помимо актанга, называющего причину эмоции, имеется актанг – объект эмоционального отношения. Е.М.Вольф, разграничивая предикаты эмоционального состояния и предикаты эмоционального отношения, приводит следующий пример последних: *Я рассердился на Васю за то, что он мне нагрубил* [Вольф 1989: 56-57].

Особенности семантики прилагательного описываются как условия, препятствующие производству от него предикатива на *-о*: «Существует запрет на образование деривата от прилагательных, обозначающих активные свойства субъекта: \**мне бешено, злобно, буйно, гневно*; соответствующие лексические значения реализуются при помощи глагольной модели  $N_{acc/dat} - V_{imp}$ : *меня бесит, злит, раздражает, что Р*» [Циммерлинг 2003: 54-59]; «Чувства, в которых ярко выражен *внешний* компонент (злость, гнев, смущение и пр.), чаще описываются в категории процесса и объективации, нежели состояния. Для некоторых из таких “внешних” чувств вообще не существует в русском языке форм, содержащих категорию состояния: \**Мне злобно. \*Мне гневно*» [Трунов 2005: 113-121]; ср. также: «Некоторые социально или личностно неприемлемые чувства вообще не имеют форм, содержащих категорию состояния: \**Мне смущенно. \*Мне виновно. \*Мне злобно*. Человек как будто не позволяет себе вовлекаться (“погружаться”) в них» [там же].

В русском языке запрет на образование предикативов на *-о* от основ подобных прилагательных достаточно жесткий. Огромные массивы Рунета дают единичные примеры нарушения этой нормы: *Как-то мне злобно. Как-то все бесит* (diary.ru); *Поэтому мне гнусно и яростно, когда «скины» завязывают очередной крестик на своих ботинках* (otvet.mail.ru).

Хотя болгарская литературная норма также запрещает подобную деривацию, субстандартные употребления типа *Гневно ми е, Злобно ми е* нередко фиксируются как факты неформального речевого общения: *Гневно ми е, че излизам от строя за няколко месеца* (интервью с Л.Стойковым); *Злобно ми е. Чувствам се супер независима и силна* (teenproblem.net); см. также: *Виновно ми е – толкова, че забравям яда си* (teenproblem.net). Подобные примеры часто не позволяют сделать заключения о преднамеренном словотворчестве, в частности об акте языковой игры. Скорее, их можно толковать как употребления, демонстрирующие открытость и продуктивность языковой модели.

Литературная норма не позволяет также преобразования в дативные личных конструкций с предикатами удовлетворенности/ неудовлетворенности *доволен, недоволен, горд* чем-либо: *Он доволен/ недоволен/ горд*. Не редактируемые тексты, однако, как русские, так и болгарские, дают примеры употребления дативных предложений с предикативом *гордо*: *Мне гордо за таких соотечественников, может это и глупо и пошло, но мне гордо* (forum-volgograd.ru); *Гордо ми е, драго ми е, че този салон е пълен* (news.vratza.com). В болгароязычной сети отмечается использование в аналогичных конструкциях и предикатива *доволно*: *Нежно ми е. Страстно ми е. Доволно ми е. Спокойно ми е. Топло ми е. Може ли времето да спре?* (topbloglog.com).

Не имеют нормативных соответствий с дательным субъекта подлежащие конструкции с прилагательными *угрюмый, понурый*, обозначающими внешне проявление тяжелых эмоциональных и ментальных состояний: *Он угрюм; На главного тренера сборной России Бориса Петровича Игнатьева после матча было жалко смотреть – такой он был понурый, печальный, убитый горем* (газ. Невское время). См., однако, окказиональные употребления типа: *Мне угрюмо, тоскливо и серо. И хотелось бы... да невмочь* (hi-hi.ru).

Сетевые источники содержат также примеры использования субстандартных русских и болгарских дативных конструкций с предикативами, которые образованы от основ прилагательных, называющих качества и свойства человека. Дативная модель переводит квалификативный предикат в предикат временного состояния: *Мне смешно. А это уж точно лучше, чем когда мне слезливо* (ljseek.com); *С утра я обычно люблю помолчать. <...> Но сегодня мне болтливо* (omflight.livejournal.com); *Даже, наоборот, как-то мне стало оптимистично после беседы с ней* (conf.7ya.ru); *Я болею за Россию! Но как-то мне пессимистично...* (solnechnogorsk.net); *Скучно... за окном голые деревья, сыро, пасмурно, коты, орущие друг на друга, а мне флегматично* (diary.ru); *Чет так мне сентиментально с утра, и плакать хочется* (forum.wewomen.ru); *Кому-то серо и неинтересно, а мне романтично и празднично* (emusic.md); *Когато ми е съзливо... <...> когато не искам другите да знаят...* (salzitemi.blogspot.com); *Приказливо ми е днес и си намирам поводи за приказки просто* (forum.all.bg); *Все на рев ме избива, заядливо ми е* (club.biberonbg.com); *...видял си навсякъде Светлината, като доказателство за присъствието ѝ в Живота ти в този момент... Много оптимистично ми стана* (clubs.dir.bg); *Уморена съм, разболяваща се, нервно ми е, пессимистично ми е...* (archives.bg-mamma.com); *Момичета, пиша ви за последен път за тази година... Някак сентиментално ми е...* (chick-

chat.org); ...**романтично** ти **е**, защото си на върха на сетивата си (forum.all.bg); **Ох, лигаво** ми **е** тази вечер и не ми се пише по сериозни теми... (forum.4at.info); **Продължава** да ми **е** такава – зелено-бирено, дъждовно-градинково, спокойно, **смело** ми **е**, много ми **е смело** <...>, не ме **е** страх, не ме **е** страх (pillsofdete.wordpress.com) и под.

Стоит отметить, что мнения носителей языка, как русского, так и болгарского, относительно нормативности подобных употреблений расходятся. Неоднозначность оценки свидетельствует о размытости границ нормы, ее колебаниях, связанных с высокой степенью продуктивности дативной модели в обоих сопоставляемых языках.

В отличие от русского языка в болгарском, как уже было отмечено выше, дативная конструкция может быть образована предикативом на -о, деривационно связанным с причастной формой. Для выражения эмоциональных и эмоционально-ментальных состояний такие конструкции используются в современных текстах довольно часто. Бóльшая их часть соотносится с двусоставными предложениями. См. построения с предикативами, образованными от основ страдательных причастий прошедшего времени: *Благодаря, Поли. Твоето онемяването е голяма оценка... **смутено** ми **е**...* (hulite.net); *Идвамето на бебето след малко повече от месец – хем ми **е** радостно, хем ми **е** много **притеснено**...* (club.biberonbg.com); ***Напрегнато** ми **е**, **превъзбудено** ми **е**, но гледам да се успокоявам с всякакви неща* (zar.bg); ***Изнервено** ми **е** и явно имам нужда от въздух* (teenproblem.net); *Не знам дали да отида да го потърся или просто да оставя нещата така, ужасно **объркано** ми **е*** (spodeli.net); *Ами... **смачкано** ми **е**...* *Баща ми ми се разсърди за пълна глупост* (emotion.bg); *Спокойно и **усмихнато** ми **е*** (archives.bg-mamma.com).

Отзывы носителей языка относительно нормативности подобных безличных структур неоднозначны. Такие, например, конструкции, как *Напрегнато ми **е**, Притеснено ми **е***, признаются нормативными, предложения же типа *Смутено ми **е**, Усмихнато ми **е*** – окказиональными.

Нарушают литературную норму построения с предикативами, образованными от основ действительных причастий настоящего времени, типа: *За момента се чувствам доста особено в това състояние, озадачена съм, странно ми **е**, страх ме **е** да не се разочаровам, **объркващо** ми **е**...* (forum.all.bg); ***Потискащо** ми **е**...* *Брюнетката от журието е нелепа със своята сериозност...* (forum.abv.bg). Такие конструкции несоотносительны с подлежащими.

3. Таким образом, и в русском и в болгарском языках дативная модель с предикативом на -о отличается высокой степенью продуктивности. Активизация этой модели и связанные с ней языковые расширения отме-

чаются, прежде всего, в сфере сетевой коммуникации, т.е. в пределах так называемой *письменной разговорной речи*. Непринужденность и эмоциональная раскованность виртуального общения ведет к интенсивному употреблению языковых средств, передающих чувства и состояния субъекта, в частности рассматриваемой конструкции с дательным экспериенцера. Пользователь Интернета, создающий по этой модели окказионализмы, извлекает дополнительные экспрессивные эффекты.

Корреляция безличных дативных конструкций и личных предложений (*Ему грустно – Он грустен, Тяжко му е – Той е тъжен*) связана с семантикой предикатов и представляет собой системно значимое явление. Соотносительные пары особенно характерны для сферы выражения эмоционально-ментальных состояний, т.е. той области, где безличная дативная модель особенно активна. Хотя количество коррелятивных пар может уменьшаться в связи с архаизацией значений прилагательных, в настоящее время и в русском и в болгарском языках наблюдается активный процесс увеличения числа таких соответствий. Это происходит вследствие высокой продуктивности дативной модели, ведущей к распространению в текстах субнормативных структур с предикативами на *-о*. Такие построения расшатывают норму, получая шанс закрепиться в литературном употреблении.

Деривационная база для предикативов на *-о* расширяется в результате включения в нее новых видов адъективных основ, в частности основ прилагательных со значением эмоционального отношения типа *гневен*, удовлетворенности/ неудовлетворенности типа *доволен*, прилагательных, называющих качества и свойства человека, типа *слезлив*, *сентиментален* и др. Можно считать, что степень продуктивности дативной модели в болгарском языке выше, чем в русском, поскольку болгарская словообразовательная база для предиката этой модели шире русской. В болгарской дативной конструкции может быть использован предикатив на *-о*, деривационно связанный с причастной формой.

Количество амбивалентных основ в обоих языках увеличивается не только за счет основ прилагательных, валентных на субъекта (что приводит к появлению новых коррелятивных пар). В число амбивалентных включаются и такие основы, как основы прилагательных со значением вкуса, света, цвета.

Некоторые различия между сопоставляемыми языками могут касаться характеристики русских и болгарских безличных дативных конструкций по степени их частотности и нормативности. Так, некоторые состояния в болгарском языке нормативно выражаются не дативным пред-

ложением с предикативом на *-о* (как в русском), а конструкцией с предикативным существительным и субъектом в аккумулятиве (типа *Страх го е*).

## ЛИТЕРАТУРА

Булыгина 1982 – *Булыгина Т.В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Васильев 2000 а – *Васильев Л.М.* Системный семантический словарь русского языка: Предикатная лексика. Вып. 1. Предикаты бытия, пространственной локализации, отношения, оценки, состояния и количества. Уфа: Восточный ун-т, 2000.

Васильев 2000 б – *Васильев Л.М.* Системный семантический словарь русского языка: Предикатная лексика. Вып. 2. Предикаты свойства, поведения и звучания. Уфа: БГУ, 2000.

Вольф 1982 – *Вольф Е.М.* Состояния и признаки: Оценки состояний // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Вольф 1989 – *Вольф Е.М.* Эмоциональные состояния и их представление в языке // Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989.

Георгиев 1976 – *Георгиев И.С.* Безличные предложения в русском и болгарском языках: Сопоставительно-типологическое исследование. Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. Велико-Тырново, 1976.

Зализняк 2003 – *Зализняк Анна А.* О семантике сожаления // Логический анализ языка. Избранное 1988-1995. М.: Индрик, 2003.

Золотова, Онипенко, Сидорова 1998 – *Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Мартынов 1982 – *Мартынов В.В.* Категории языка: Семиологический аспект. М., 1982.

Падучева 1985 – *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотношенность с действительностью: Референциальные аспекты семантики местоимений. М.: Наука, 1985.

Пупынин 1992 – *Пупынин Ю.А.* Безличный предикат и субъектно-объектные отношения в русском языке // Вопросы языкознания. 1992. № 1.

Русская грамматика 1982 – *Русская грамматика*. Т. II. М., 1982.

Селиверстова 1982 – *Селиверстова О.Н.* Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикатных типов русского языка // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Трунов 2005 – *Трунов Д.Г.* Эмоциональная лексика в профессиональной коммуникации психотерапевта // Вестник Российской коммуникативной ассоциации. Теория и практика коммуникации: Сборник науч-

ных трудов. Вып. 3 / Под общ. ред. И.Н.Розиной. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2005.

Циммерлинг 2003 – *Циммерлинг А.В.* Предикативы и качественные наречия: классы слов и направления деривации // Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы. Материалы международной научной конференции (Москва, 8-10 июня 2002 г.). М., 2003.

Циммерлинг 2010 – *Циммерлинг А.В.* Именные предикативы и дательные предложения в европейских языках // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 26-30 мая 2010 г.). Вып. 9 (16). М.: Изд-во РГГУ, 2010.

Яковлева 2003 – *Яковлева Е.С.* Согласование модусных характеристик в высказывании // Логический анализ языка. Избранное 1988-1995. М.: Индрик, 2003.

## **ОБ ОБРАЗНОМ СРАВНЕНИИ И ЕГО ТИПОЛОГИИ**

Сравнение представляет одно из образных средств языка, через которые нам открывается тайна творчества, загадки слова.

Сравнение воплощается в языке в разнообразных сравнительных конструкциях, в которых находит отражение логическая модель сравнения. Модель сравнения включает в себя объект сравнения (что сравнивают), эталон сравнения, с чем сравнивают, общий признак сравнения, показатель сравнительного отношения [Кондаков 1975]. В зависимости от целей, которые ставит перед собой сравнивающий субъект, сравнение выполняет в языке разные функции, что объясняет языковое своеобразие сравнений и их типологию. Еще с Аристотеля берет начало традиция различения образных и безобразных сравнений. Последние получили в лингвистике название логических сравнений [Огольцев 1978]. При ясном представлении полярных типов образного и безобразного сравнений границы их в языке, тем не менее, остаются не вполне отчетливыми.

В настоящей статье мы попытаемся определить границы образного сравнения, представить его структурно-семантическое разнообразие, показать роль разных компонентов сравнительной конструкции в создании образности сравнения.

Образные и безобразные сравнения не составляют принадлежность каких-то отдельных текстов. И те и другие широко встречаются, например, в художественном тексте. Органически включаясь в ткань произведения, даже безобразные сравнения оказываются не лишёнными художественной ценности. Например:

*– А ты не заметил, как годы прошли? – Заметил, заметил! Попало, как надо* (Н.Рубцов).

Здесь ситуация «мне попало» сравнивается с некоторым представлением о норме явления, о том, как это обычно бывает – «как надо (попасть)». Позицию эталона сравнения занимает предложение с модальным словом. Из-за отсутствия общепринятого термина назовем такое сравнение эталонным сравнением. Такое сравнение, как и сравнение логическое, противопоставляется в языке сравнению образному.

В отличие от эталонного сравнения, где позицию эталона сравнения занимает некоторое представление о норме явления, в логическом сравнении позицию объекта и эталона сравнения занимают единицы, принадлежащие общему онтологическому классу. Отличительной особенностью таких сравнений является возможность их преобразования в сочинитель-

ную конструкцию [Санников 1980]. Среди других признаков назовем одинаковый характер референции предметных компонентов, выражающих объект и эталон сравнения, а также способность принимать отождествительные компоненты *так же, такой же* [Девятова 2008]. Например:

*Сердце бьется все чаще и чаще, И уж я говорю невпопад: Я такой же, как вы, пропащий, Мне теперь не уйти назад* (С.Есенин).

Выразительность такого сравнения создается компаративной константой – *пропащий*, некоторой его «недоопределенностью» в рамках поэтического текста.

Собственно образными сравнениями мы, вслед за Аристотелем [Античные риторика 1978], будем считать сравнения, в которых объект и эталон сравнения принадлежат к разным онтологическим классам, устанавливается близость явлений, отдаленных друг от друга.

Исследуя семантические отношения соотнесенных в образном сравнении объекта и эталона сравнения, Ю.В.Литвинов [Литвинов 1990] степень образности сравнения объясняет характером сопоставляемых объектов и местом их на шкале образности. Онтологическая шкала представлена предметными именами, зоонимами, антропонимами, абстрактными существительными. Чем дальше, по мнению автора, отстоят друг от друга существительные на шкале образности, тем выше образность сравнительной конструкции.

Следует, однако, сказать, что языковые способы создания образности сравнения не исчерпываются семантикой объекта и эталона сравнения. Среди образных сравнений можно выделить несколько структурно-семантических типов, различающихся способом создания образности. Сравним два примера:

(1) *Как царь любил богатые чертоги, Так полюбил я древние дороги И голубые вечности глаза* (Н.Рубцов, Старая дорога);

(2) *Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума...* (Пушкин).

Оба примера принадлежат образному сравнению. В первом сравнении любовь к древним дорогам сравнивается с любовью царя к богатым чертогам; во втором сравнении отношение мудрости и ума сравнивается с отношением лампы и зари.

Однако образность сравнения создается здесь не только степенью семантической контрастности соположенных сущностей.

Для анализа образного сравнения важной представляется мысль М.И.Черемисиной [Черемисина 2006], выделявшей в качестве типологически значимой особенности сравнительной конструкции характер компара-

тивной константы и количество компаративных контрастов. Компаративной константой, вслед за М.И.Черемисиной, будем называть компонент, «соединяющий» объект и эталон сравнения. В особенностях компаративных констант и контрастов мы видим одно из принципиальных различий сравнений образного и логического.

Образное сравнение может включать более чем один контраст, тогда как другие типы сравнения строятся на одном компаративном контрасте. Ср.: *Таня, как и Саша, учится в пятом классе* – в логическом сравнении противопоставляются субъектные позиции: *Таня – Саша*; в приведенном выше примере логического сравнения С.Есенина также контрастируют субъектные позиции: *я – вы*.

Образность сравнения в первую очередь создается количеством компаративных контрастов: чем их больше, тем больший выразительный потенциал содержит сравнение.

В приведенных выше примерах противопоставляются две позиции: *царь – я, чертоги – дороги, лампада – мудрость, пред ясным восходом зари – пред солнцем бессмертным ума*.

В следующем примере из Пушкина противопоставляются три позиции:

*Любовь и дружество до вас / Дойдут сквозь мрачные затворы, / Как в ваши каторжные норы / Доходит мой свободный глас* (А.Пушкин) – позиции подлежащего *любовь и дружество*, позиции определения *ваши (норы) мой свободный (глас)*; позиции адресата *до вас – в ваши каторжные норы*.

Однако образность сравнения здесь создается не только компаративной константой и компаративными контрастами.

В примерах (1) и (2) можно отметить одно принципиальное различие, касающееся такого компонента сравнительной конструкции, как компаративная константа. Важно даже не то, что в первом случае мы имеем повтор в конструкции однокоренного глагола, а во втором синонимичных глаголов, а то, какое значение обнаруживает глагол, «соединяясь» с разными сравниваемыми сущностями.

В примере (1) глагол *любил* и в соединении подлежащим *царь*, и с подлежащим *я* прочитывается одинаково и представляет один лексико-семантический вариант: «испытывать любовь к кому-чему-н.» [Ожегов 1991]. Ср.:

*Как сладкую песню отчизны моей, Люблю я Кавказ* (Лермонтов);  
*Твой милый образ, незабвенный, Он предо мной везде, всегда, Недостижимый, неизменный, Как ночью на небе звезда...* (Тютчев).

В примере (2) компаративная константа представлена разными словами, которые можно считать контекстными синонимами, однако в приложении к разным сущностям «лампада бледнеет» – «ложная мудрость мерцает и тлеет» глаголы реализуют разные свои значения. Применительно к субъекту сравнения – лампаде – глагол прочитывается в его прямом значении: «слабо светиться колеблющимся светом» [Ожегов 1991]. В контексте с объектом сравнения – мудростью – глагол употребляется метафорически: ложную мудрость ниспровергает блестящий ум. «Степень» образности сравнения оказывается выше там, где общий компонент относительно разных объектов сравнения прочитывается как разные лексико-семантические варианты многозначного слова. Например:

*Слезы людские, о слезы людские, Лететь вы ранней и поздней порой... Лететь безвестные, лететь незримые, Неистощимые, неисчислимые, – Лететь, как льются струи дождевые В осень глухую порою ночной* (Тютчев);

*А он блистал, как сын природы, Играя взглядом и умом, Блистал, как летом блещут воды, Как месяц блещет над холмом* (Н.Рубцов).

Характер компаративной константы мы будем считать одним из классификационных признаков образного сравнения.

Образность сравнения часто вызывается и эффектом олицетворения. В этом случае мы имеем дело уже с другим переосмыслением компаративной константы. Например:

*На жизнь надеяться страшась, Живу, как камень меж камней, Излить страдания скупясь...* (Лермонтов);

*Ты так же сбрасываешь платье, Как осень сбрасывает листья* (Б.Пастернак).

Действие «сбрасывать», обычно характеризующее лицо, приписывается неодушевленной сущности, в результате чего создается сравнение-олицетворение.

Выразительный эффект сравнения часто объясняется и направлением сравнения. Обычно сравнение направлено от менее известного к более известному. Однако встречаются и сравнения, где более известное сравнивается с менее известным. Например:

*Снег летит на храм Софии, На детей, а их не счесть. Снег летит по всей России, Словно радостная весть* (Н.Рубцов).

Такое сравнение мы будем называть *обратным* сравнением и рассматривать как один из типов образного сравнения.

В обратном сравнении компаративная константа прочитывается метафорически по отношению к эталону сравнения – тому, с чем сравнивают. Например:

*Осенним холодом расцвечены надежды, Бредет мой конь, как тихая судьба* (С.Есенин);

*И счастлив тем, Что в чистом этом небе Идут, идут, Как мысли, облака* (Н.Рубцов);

*Горел прощальный наш костер, Как мимолетный сон природы* (Н.Рубцов);

*За окном, таинственны, как слухи, Ходят тени, шорохи весны* (Н.Рубцов).

Особую роль в организации образного сравнения играет и такой компонент сравнительной конструкции, как компонент признаковый. Говоря о признаковом компоненте, мы будем иметь в виду либо прилагательное, либо – в глагольной конструкции – качественное наречие, распространяющее глагол или возможное при глаголе. Признаковым компонентом мы будем считать и местоименные компоненты *так, такой*, выражающие степень проявления признака. Позиция признакового компонента может быть занятой или свободной. Например:

*Терпеливо, как щепень бьют, Терпеливо, как смерти ждут..., Буду ждать тебя (пальцы в жгут – Так монархини ждет наложник)* (М.Цветаева);

*Быть до конца так страшно одиноку, Как буду одинок в своем гробу* (Тютчев).

В приведенных примерах позиция качественного компонента оказывается замещенной. Приведем пример с незамещенной признаковой позицией.

*Загорятся, как черна смородина, угли-очи в подковах бровей* (С.Есенин).

Независимо от характера выражения признаковый компонент сохраняет некоторую степень недоопределенности значения, снизить которую и призвано сравнение. Эта недоопределенность, тем не менее, не преодолевается до конца. Чем выше степень такой недоопределенности, тем выше оказывается и степень образности сравнения. Например:

*Рассвет был сер, как спор в кустах, Как говор арестантов* (Б.Пастернак).

В образном сравнении варьироваться может не только степень недоопределенности признакового компонента, но и степень его проявления. Характер значения признакового компонента во многом зависит от того, какие сущности соплагаются в сравнении.

Признак сравнения обычно выражает высокую степень проявления и при этом высокую степень определенности, если сравниваются конкретные сущности. Например:

*В дверях гостиной, лицом ко мне, стояла как вкопанная моя матушка* (Тургенев);

*Глаза у Мышлаевского, как у кролика, – красные* (М.Булгаков).

Образные сравнения в приведенных примерах представляют примеры фразеологического сравнения. Особенность значения компонента, выражающего качественный признак, – в предельной степени его выражения. На значение высокой степени признака сравнения в устойчивых сравнениях обращали внимание такие исследователи, как М.И.Черемисина [Черемисина 1967], А.Кунин [Кунин 1969], С.Б.Берлизон [Берлизон 1973], Л.П.Крысин [Крысин 1988], А.Вежбицкая [Вежбицкая 1990], М.Н.Судоплатова [Судоплатова 1979]. Значение «абсолютного суперлатива» отмечает у фразеологических сравнений, например, С.Б.Берлизон [Берлизон 1973: 14]. Л.П.Крысин [Крысин 1988] называет такое представление признака гиперболой.

Если в позиции объекта сравнения оказывается отвлеченное имя, то признак сравнения характеризуется высокой степенью недоопределенности признака и недостаточно высокой степенью его проявления:

*Нынче юность моя отшумела, Как подгнивший под окнами клен* (С.Есенин);

*Снова выплыли годы из мрака И шумят, как ромашковый луг* (С.Есенин).

Высокая степень признака (при незначительной степени недоопределенности) отличает «неожиданное» сравнение, в котором сравниваются далекие друг от друга предметы. При этом избранный признак сравнения лишь условно может рассматриваться как общий признак. Примером такого сравнения может служить устойчивое сравнение «пьяный как свинья». «Общий» признак «пьяный» лишь условно может быть приписан второму объекту сравнения – свинье. Сравнение заставляет обнаруживать глубинную связь между явлениями. Свинья не употребляет алкоголь и не бывает пьяной, но свинья бывает грязной, потому что валяется в луже, – пьяный тоже валяется в грязи и бывает грязным. Неожиданность сравнения и его парадоксальность и создает особый выразительный эффект. Такие сравнения часто встречаются в художественной речи. Например:

*Пред мной готическое здание Стоит, как тень былых годов...* (Лермонтов);

*Глупый сибирский / Чалдон / Скуп, как сто дьяволов / Он / За пяток продаст* (С.Есенин).

Во втором примере общий признак может быть представлен как «плохое отношение одного лица к другому»: дьяволу приписывается одно из отрицательных качеств человека.

Особый вклад в создание образности сравнения вносят местоименные компоненты *так, такой*. Как отмечала М.И.Черемисина, «соотносительные слова и усилительные частицы чаще появляются во фразах, предикаты которых семантически удалены друг от друга» [Черемисина 2006: 55]. Наречие *так* может выступать как в чисто указательном значении (*так же*), так и в значении неполной определенности, причем эта неопределенность до конца не преодолевается контекстом. Например:

*Душа свои не помнит годы, Так по-младенчески чиста, Как говорящие уста Нас окружающей природы* (Н.Рубцов).

В образном сравнении компоненты *так, такой* «усиливают» значение высокой степени признака, хотя признак и так представлен в его интензивном проявлении: *по-младенчески чиста*.

Значение высокой степени признака характеризует и особое «поэтическое» употребление *так*. Например:

*Стыдливости румянец невозвратный, Он улетел с твоих молодых ланит – Так с юных роз Авроры луч бежит С их чистой душою ароматной* (Тютчев);

*С такую силой в подбородок руку Вцепив, что судорогой вьется рот, С такую силою поняв разлуку, Что кажется и смерть не разведет – Так знаменосец покидает знамя. Так на погосте матерям: Пора! Так в ночь глядит – последними глазами Наложница последнего царя* (М.Цветаева).

В.В.Виноградов называл такое сравнение присоединительным сравнением, видя в нем «удобную форму экспрессивно-присоединительного сближения». Сравнение здесь «семантически перевешивает первоначальную тему» [Виноградов 1941: 219].

Исключительный, суперлативный признак выражают и другие конструкции. В них «признак, определяемый по степени проявления, мыслится как исключительный» [Грамматика 1980: 494]. Например:

*Но никто так явно не нарушал этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич* (Б.Пастернак).

В таких предложениях представлена перевернутая система отношений: представитель класса сравнивается с классом, при этом характеризуется как его «лучший» представитель. В организации таких конструкций принимают участие отрицательные местоимения и наречия. Например:

*Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинной лавочкою на Шукином дворе* (Гоголь).

Образность сравнения может создаваться и за счет детализированности, предельной конкретности признака сравнения – визуализации си-

туации. Как заметила О.Е.Фролова, развертывание сравнения является одним из способов создания перцептивного образа [Фролова 2007: 223].

Чем конкретнее представлена ситуация сравнения и признак сравнения, тем выше оказывается его выразительный потенциал. Например:

*В нем была деятельная работа: усиленное кровообращение, удвоенное биение пульса и кипение у сердца – все это действовало так сильно, что он дышал медленно и тяжело, как дышат перед казнью и в момент высочайшей неги* (Гончаров);

*Брала знакомые листья И чудно так на них глядела, Как души смотрят с высоты На ими брошенное тело* (Тютчев);

*Кто же знает, может быть, навеки Людный тракт окутается мглой, Как туман окутывает реки: Я уйду тропой* (Н.Рубцов).

Анализ образного сравнения позволил выявить разнообразие типов, образность которых создается по-разному, при участии разных языковых средств. Представляя уникальное явление художественного языка, сравнение создается по определенным законам, открывающим перед нами эстетические возможности слова.

## ЛИТЕРАТУРА

Античные риторика 1978 – Античные риторика / Собр. текстов, статьи, комм., общ. ред. проф. А.А.Тахо-Годи. Пер. М.Л.Гаспарова, Н.Платоновой, Н.А.Старостиной, О.В.Смыки. М.: Изд-во МГУ, 1978.

Берлизон 1973 – *Берлизон С.Б.* Компаративные фразеологические единицы – средства выражения экспрессии и эмоциональной оценки (на материале английского языка) // Проблемы семасиологии и лингвостилистики. Вып. 1. Часть первая. Рязань: Изд-во Рязанского пед. ин-та, 1973.

Вежбицкая 1990 – *Вежбицкая А.* Сравнение – градация – метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.

Виноградов 1941 – *Виноградов В.В.* Стиль Пушкина. М.: Гослитиздат, 1941.

Грамматика 1980 – Русская грамматика, т. II. М.: Наука, 1980.

Девятова 2008 – *Девятова Н.М.* О сравнении образном, логическом, отождествительном // Преподаватель. XXI век, 2008, № 4.

Кондаков 1975 – *Кондаков Н.И.* Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975.

Крысин 1988 – *Крысин Л.П.* Гипербола в русской разговорной речи // Проблемы структурной лингвистики. 1984. М.: Наука, 1988.

Кунин 1969 – *Кунин А.* Устойчивые адъективные сравнения в русском и английском языках // Русский язык за рубежом, 1969, № 3.

Литвинов 1990 – *Литвинов Ю.В.* Типология образности сравнений (на материале русского и английского языков). Автореферат дисс. ... кандидата филол. наук. Л., 1990.

Огольцев 1978 – *Огольцев В.М.* Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1978.

Ожегов 1991 – *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. Изд-е 23-е, исправл. М.: Русский язык, 1991.

Санников 1980 – *Санников В.З.* О формальном представлении русских сочинительных конструкций // Формальное описание структуры естественного языка. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1980.

Судоплатова 1979 – *Судоплатова М.Н.* Устойчивые компаративные сочетания и компаративная фразеология // Современная лексикография. 1977. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1979.

Фролова 2007 – *Фролова О.Е.* Мир, стоящий за текстом. Референциальные механизмы пословицы, анекдота, волшебной сказки и авторского повествовательного текста. М.: ЛКИ, 2007.

Черемисина 1967 – *Черемисина М.И.* Сравнения-фразеологизмы русского разговорного языка // Русский язык за рубежом, 1967, № 2.

Черемисина 2006 – *Черемисина М.И.* Сравнительные конструкции русского языка. Изд-е 2-е, стереотипное. М.: КомКнига, 2006.

## ДОМ В ЗЕРКАЛЕ СРАВНЕНИЙ РУССКИХ И КАЗАХСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В статье предложен когнитивный анализ сравнительных конструкций на материале рассказов русских и казахских писателей первой половины XX века. Сравнения рассматриваются в аспекте отражения в них языковой картины мира авторов. Анализ данного образного средства позволяет выделить объекты действительности, зафиксированные различными лексемами, отражающими концептосферу «дом» в сознании представителей русского и казахского этносов.

В каждом языке существует определенная точка отсчета, через которую преломляется формирование образных представлений у носителей определенного языка. По определению Э.Сепира, «словарный состав представляет собой очень чувствительный индикатор культуры народа, и изменение значения, утрата слов, создание и заимствование новых – это связано с историей культуры» [Сепир 1973: 62]. Сам отбор предметов и явлений для создания образов сравнения раскрывает разные стороны исторического развития народа, его национальной культуры, духовного склада и мирозерцания.

Источником специфики мыслительной деятельности носителей разных языков является чувственно воспринимаемая действительность, все явления, так или иначе затрагивающие душу человека: строение организма, окружающая природа (флора, фауна, климатические и географические условия), быт, весь опыт и переживания, – всё это оказывает влияние на язык. «На языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще есть *мир*. Для человека мир есть ‘тут’ в качестве мира; <...> тут-бытие мира есть бытие языковое» [Гадамер 1988: 512]. При вербальном кодировании обозначение в виде отдельных лексических единиц получает то, что играет важную роль в жизни человека (нации), что является ценностным для него. «Семантическая плотность той или иной тематической группы слов, детализация наименования, выделение смысловых оттенков являются сигналами лингвистической ценности внеязыкового объекта, будь то предмет, процесс или понятие» [Карасик 1996: 4]. Место любой реалии в системе культурных ценностей – независимо от того, принадлежит эта реалия нерукотворному миру или создана руками человека, – может быть определено лишь через ту роль, которую данный денотат играет в жизни людей. Через восприятие личности дается толкование большинства слов. На этом основании можно говорить об антропоцентричности сравнитель-

ных конструкций, и поэтому, анализируя семантику сравнения, можно вывить важные для этнокультурного сообщества сферы.

Являя собой слепок картины мира, данная система сфер выстраивается не беспорядочно, а всё на том же принципе антропоцентризма: для человека точка отсчета – сам человек, в основе всего – сравнение с человеком. Участок наивной картины мира, зафиксированный системой специализированных объектов, также концентрируется вокруг человека и проецируется на него. В философской литературе высказывается идущая еще от Ф.Бэкона мысль о «троеначалии» жизни: все вокруг группируется в «три большие категории, три космоса – мир Вселенной, мир общества и индивидуальный мир. Человек способен как бы вживаться в образ каждого из этих миров, отождествляться с ним» [Никитин 1991: 10]. Эта мысль позволяет принять постулат о «биопсихосоциальной природе человека», которая является концептуальным ядром, вокруг которого формируется и развертывается определенная система понятий: ощущений, восприятий, мышления, осознания и сознания, формируется определенная система понятийно-содержательных смыслов [Малинович 2006: 879-885].

Исследованная нами система лексических единиц легко укладывается в эти три категории, и, таким образом, наивная картина мира, отраженная системой объектов сравнения, представляет собой три концентрических круга: индивидуальный мир, социальный мир, природный мир. Сознание личности отражает и, упорядочивая, закрепляет в языке окружающий мир и личный мир, поэтому перспектива наивной картины мира располагается по двум направлениям – «внешний» и «внутренний» обзор. При этом зоны окружающего и личного мира соотносительны: внешний мир рассматривается человеком сквозь «прорезь» своего мира. По обоим направлениям картина мира складывается из ярусов (концентрических кругов), и каждый последующий ярус есть отражение более отдаленного от человеческого бытия участка мира. В зоне личного мира выделяются следующие сферы: человек как индивид, биологическое существо; человек как личность, социальный субъект; человек мыслящий и чувствующий. В зоне окружающего мира представлены три соотносительные сферы: дом, социум, природа. В настоящей статье мы предложим читателю описание лишь одной из сфер окружающего мира – дом.

По утверждению В.А.Масловой, концептосфера «дом» занимает второе место в сознании русских после осознания себя как человека. «Родной дом – это первая вселенная человека, объединяющая его воспоминания, мысли, мечты» [Маслова 2005: 235]. Родной дом всегда вызывает положительные ассоциации: ... *среди желтой травы стоит голубой колокольчик. Да такой большой, такой ладный – что твой дом!* (Э.Шим. Те-

ремек). Дом в произведениях русских и казахских авторов представлен несколькими лексическими группами: дом как жилище, как предметы обихода и как набор продуктов питания.

*Жилище.* Для русских авторов дом – это либо безопасное и уютное пространство для проживания (например, деревня), либо строение, а также крепость: *И ночью, в темноте, на берегу вдруг стали мигать красные огоньки, – знаете, вроде как в деревне, в человеческих жилищах* (Э.Шим. Приключения зайца); *Сидишь в старенькой избе, как в крепости, решаешь задания на завтра...* (К.Паустовский. Записки Ивана Малявина).

При этом дом может иметь разный вид: *небоскреб, шатер, шалаш: ...у них, зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах...* (М.Пришвин. Этажи леса); *...нижние ветки ели сложились шатром* (М.Пришвин. Лесной шатер); *А бабочка уже сидела на синем, похожем на шалашик, цветочке* (Ю.Дмитриев. Тропинка в лесу).

В сознании казахского народа дом – это, прежде всего, юрта. При этом казахские писатели XX века запечатлели в своих сравнениях разницу между юртой бедного и богатого человека: *А еще выше, будто выхваченная солнцем из ночи, сияла круглая снежная вершина – недоступная, почетная белая юрта* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале); *...и в сердце его, как в бедняцкой юрте, было пусто и голо* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале).

Как в русском, так и казахском языковом сознании дом – это центростремительный перекресток всех жизненных путей человека, сходящихся у родного очага: *Закопался в сугроб, уткнулся носом в хвост, и кровь не застыла в его жилах, грела лучше, чем очаг юрту* (М.Ауэзов. Серый Лютый). Очаг (или печь) в сравнительных конструкциях русских авторов представлен такими его составляющими, как *печная труба, огонь, сажка, дым, полено, уголек: Вдруг сверху ещё воробей слетел. Расстрепанный такой, чумазый. Словно из печной трубы вывалился* (Э.Шим. Самый жадный); *Но вдруг обледенелые деревья вспыхивали желтым огнем...* (К.Паустовский. Правая рука); *В нем (озере) водился крупный окунь, черный, будто вымазанный сажей* (К.Паустовский. Записки Ивана Малявина); *Получая подарок, Выюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом* (М.Пришвин. Выскочка); *В багряных листьях у меня ягоды поспели. Одна к другой – чистые, блёсткие, будто угольки пламенные...* (Э.Шим. Калина). Лексему угли, а также головешка находим в качестве объектов сравнения и в рассказах казахских авторов: *Глаза у него светились, как у волка, но не зеленым, а красноватым огнем, точно горячие угли* (М.Ауэзов. Серый Лютый); *Пробитая пулей ляжка горела, точно опаленная головешкой из костра* (М.Ауэзов. Серый Лютый).

Довольно частым агентом сравнения у русских и казахских авторов является лексема *дым*: *Чуть выше, подобно клубам дыма, висели облачка, багровые снизу* (М.Ауэзов. Сиротская доля). Дым бывает разноцветным (зеленым, белым, розовым), а бывает праздничным: *Ленивое течение колышет мягкие, как зеленый дым, травы* (Э.Шим. Верное время); *Весна – светло-зеленая... она как дым...* (Ю.Дмитриев); *Близкий сосновый лес поседел от снегопада и, казалось, курился дымом* (К.Паустовский. Записки Ивана Малявина); *Он (штиль) лежал над морем, как праздничный дым* (К.Паустовский. Толя-капитан).

Немаловажной составляющей жилища русского человека является баня. Естественно, что она употребляется русскими авторами в качестве объекта сравнения: *Ветки от дождя – блестящие, распаренные, словно из бани* (Э.Шим. Береги!).

*Предметы домашнего обихода.* Самой многочисленной является группа лексики, называющая предметы обихода русского и казахского дома первой половины XX века. Здесь целесообразно выделить несколько лексических подгрупп.

*Предметы быта.* В русских текстах находим большое количество номинаций предметов быта. Это *зеркало, стол, керосиновая лампа, лампадное масло, свеча, воск, корыто, половики, рогожи, папиросная бумага: ...ползет по дну рак величиной с бабкино корыто...* (К.Паустовский. Дремучий медведь); *...на отдельных осинах висел желтый хмель, будто кто-то развесил сушить на солнце новые рогожи* (К.Паустовский. Подпасок). В сравнениях казахских писателей находим предметы быта степняка-кочевника, скотовода и охотника (*камча, кнут, аркан, порох, стрела, тетива*): *В другое время она поражала своей неженской волей, хозяйственной сметкой, властностью, обжигавшей, как камча* (М.Ауэзов. Красавица в трауре); *Свистнул соловей <...> Ещё свистнул и затрещал, защелкал хлестко, подобно маленькому кнуту* (М.Ауэзов. Красавица в трауре); *Серый Лютый летел, как стрела* (М.Ауэзов. Серый Лютый).

*Кухонная утварь.* Эта лексическая подгруппа представлена в русском языке лексемами *чайник, стакан, поднос от самовара, блюдо, сковорода, терка, бутылка: Паровоз, похожий на чайник, сердито засвистел на него...* (К.Паустовский. Ленка с малого озера); *...караси величиной с поднос от самовара...* (К.Паустовский. Воронежское лето). У казахских авторов находим лишь лексему *блюдо*: *В черном бурани дыма и пыли <...> тусклым маленьким красным блюдцем появилось за краем холма солнце* (Г.Мусрепов. Солдат из Казахстана).

*Постельные принадлежности.* Данная группа лексики немногочисленна в обоих языках. В русском находим лексемы *одеяло, подушка, пери-*

на: ...пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком (К.Паустовский. Заботливый цветок); ...пень под ней осел, как подушка (М.Пришвин. Пень-муравейник); По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. Тогда каждая полоска ржи, как перина... (М.Пришвин. Рожь поспекает). В казахских текстах находим обобщающую лексику *постель*: *Пожалуй, в них и не печаль, а скорее мольба, наивная и трогательная, как убранный её руками нищая постель* (М.Ауэзов. Сиротская доля).

Одежда. В роли агента сравнения национальные предметы одежды встречаем у казахских авторов: *Беды лепятся к бедняку, точно заплатки к изношенному чекмену* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале); *Бахтыгул слышал её голос точно сквозь ватный халат* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале); *Черный холм, точно меховой шапкой, покрыт низкорослыми кустами караганника и таволги* (М.Ауэзов. Серый Лютый). В русских рассказах из предметов одежды встречаем только *лапоть* да *платочек*: *Родионыч, в отличие от всех охотников, зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает* (М.Пришвин. Синий лапоть); *Вдруг впереди, на сосне, белое пятнышко, как платочек...* (Э.Шим. Белый хвостик).

Предметы женского рукоделия. Предметы рукоделия русской женщины – *иголка, нитки, пряжа, бисер, наперсток, салфетка, пуговица*: *Паутина <...> пряжей налипала на весла, на лица, на удилица, на рога коров* (К.Паустовский. Желтый свет); *Мы осторожно дышали на них (снежинки), и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер* (К.Паустовский. Прощание с летом). Для казахского сознания ценными являются ткани *парча, шелк*, которые издревле ценились на востоке: *В мягком свете вечерней зари чистая холеная шерсть скакунов поблескивала, как парча* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале); *В голубоватом мареве, словно за прозрачной шелковой занавеской, показались на тонкой дуге дороги конные* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале).

Орудия труда и механизмы. В русском языке в качестве объектов сравнения присутствуют как орудия труда, так и механические приспособления: *молот, серп, лопата, веялка, насос*: *...когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков* (К.Паустовский. Жильцы старого дома); *Но тут пеликан <...> начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос* (К.Паустовский. Последний черт). Примечательным является то, что в

сознании казаха, в основной своей массе скотовода-кочевника, определенное значение имеют орудия труда землепашца (*мотыга, серп, цеп*): *А того засадил в навоз с головой, как мотыгу под корешок* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале); *Свежий снег взвивался красно-сиреневыми космами и серпами* (М.Ауэзов. Сиротская доля); *Вода была, трепала и молотила Бахтыгула от затылка до пят, словно тысячью дубин, тысячью цепов, сдергивая, срывая с коня* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале).

*Продукты питания.* Гастрономические пристрастия русских и казахов характеризует группа лексики «продукты питания». «Русская кухня вполне была национальна, т.е. основывалась на обычае, а не на искусстве» [Костомаров 1993: 56]. То же самое можно сказать и о кухне казахского народа. Так как в России с глубокой древности возделываются злаковые культуры, то русские давно овладели техникой изготовления муки, теста и тайнами выпечки. Среди объектов сравнения находим, прежде всего, такие номинации, как *мука, тесто, пирог*, то есть *хлеб* и *соль*, чем на Руси всегда гостей потчевали, а также другие продукты: *мед, молоко, чеснок, огурец, белок, сыр*: *Ромка (пес) стоит на поляне неподвижный <...>, против него, очень близко – тигровый кот: спина горбатым деревенским пирогом, хвост поднимается и опускается* (М.Пришвин. Ужасная встреча); *Уже утром понижию траву обсыпает инеем, будто солью* (Э.Шим. Пугливая осина); *...солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом* (К.Паустовский. Золотой линь); *Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец* (М.Пришвин. Изобретатель); *...старый пень, весь покрытый, как швейцарский сыр, дырочками...* (М.Пришвин. Пень-муравейник). Не остались без внимания и знаменитые русские щи: *Воды в пруду по колено, да и та зеленая, как щи* (Э.Шим. Старый пруд).

Казахская кухня изобилует продуктами питания животного происхождения. Это *масло, жир, мясо, кумыс, яйцо*: *Улыбка расплылась по его щекам, как круги по растопленному бараньему жиру* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале); *Нож отменный, мясо режет, как масло* (М.Ауэзов. Выстрел на перевале); *Зимой горы обволакивает сугроб, круглый, как яйцо* (М.Ауэзов. Сиротская доля). Зафиксировано в сравнениях и такое лакомство казахов, как *костный мозг*: *Макаш без передышки отпил половину кесе кумыса: – Ах, как мозг костей! – восхищенно проговорил он...* (С.Санбаев. Времена года нашей жизни). И дополняет картину казахской кухни национальный напиток казахов – *чай*: *Молодухи – ровно горячий чай, я от них таю* (М. Ауэзов. Красавица в трауре).

Таким образом, анализ ассоциативных полей, возникающих в сознании говорящего при сравнении одних предметов или явлений действи-

тельности с другими, то есть агентов, привлекаемых сознанием автора для сравнения, позволяет зафиксировать определенную картину мира. В нашем исследовании четко определилась картина домашнего быта русского и казахского народа, запечатленная литературными произведениями русских и казахских авторов первой половины XX века. А это значит, что исследование компаративных конструкций определенного языка позволяет глубже изучать языковую картину мира этноса, говорящего на данном языке.

## **ЛИТЕРАТУРА**

Гадамер 1988 – *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод. М., 1988.

Карасик 1996 – *Карасик В.И.* Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. Волгоград; Архангельск, 1996.

Костомаров 1993 – *Костомаров Н.И.* Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: Утварь, одежда, пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием гостей. М., 1993.

Малинович 2006 – *Малинович Ю.М.* Семиосфера внутреннего мира человека: Проблема семантики эгоцентрических категорий // Новое в когнитивной лингвистике: Материалы I Международной научной конференции «Изменяющаяся Россия: новые парадигмы и новые решения в лингвистике» (Кемерово, 29-31 августа 2006 г.) / Отв. ред. М.В.Пименова. Серия «Концептуальные исследования». Вып. 8. Кемерово: КемГУ, 2006.

Маслова 2005 – *Маслова В.А.* Когнитивная лингвистика: Учебное пособие. 2-е изд. Мн.: ТетраСистемс, 2005.

Никитин 1991 – *Никитин Е.П.* Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся вселенная? // Вопросы философии. 1991. № 8.

Сепир 1973 – *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. Пер. с англ. М., 1973.

## Литературоведение

*Ирина Захариева (Болгария)*

---

### **АКЦЕНТЫ БЕЛЛЕТРИЗАЦИИ МЕМУАРНОГО ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА (М.ЗЕНКЕВИЧ, «МУ- ЖИЦКИЙ СФИНКС»)**

*Михаил Зенкевич* (1886-1973) – один из *шестерых* признанных Анной Ахматовой акмеистов, обладавших – в соответствии с ее оценкой – несомненным поэтическим даром. Назовем *шестерку*: Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Зенкевич, В.Нарбут, С.Городецкий. Эта группа воспринималась как ядро более широкого литературного объединения – «Цеха поэтов» (1911-1915), члены которого стремились к творческому преодолению символизма.

Поэты, давшие лицо новому течению, выпустили в начале 1910-х годов авторские сборники *акмеистской* поэзии. В границах короткого хронологического периода были опубликованы: «Вечер» и «Четки» А.Ахматовой, «Чужое небо» Н.Гумилева, «Камень» О.Мандельштама, «Дикая порфира» М.Зенкевича, «Аллилуйя» В.Нарбута, «Цветущий посох» С.Городецкого.

Заметим также, что издательское товарищество «Цеха поэтов» начало свою деятельность с публикации в 1912 году поэтических сборников – «Вечер» Анны Ахматовой и «Дикая порфира» Михаила Зенкевича (тиражом в 300 экземпляров каждый).

В 1962 году в дарственном обращении к Ахматовой на своей поэтической книге «Грозы лет» Зенкевич вспоминал, как полстолетия тому назад он вывозил из петербургской типографии их дебютные сборники:

Тот день запечатлелся четко  
Виденьем юношеских грез –  
Как на извозчичьей пролетке  
Ваш «Вечер» в книжный склад я вез  
С моею «Дикою порфирой»...  
Тот день сквозь северный туман  
Встает озвучен, осяян  
Серебряною Вашей лирой! [Зенкевич 1994: 335]<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> В дальнейшем цитаты приводятся по данному изданию с указанием страницы в тексте.

Автор «Дикой порфиры» – один из крайне слабо изученных русских литераторов XX века. Родился он в Саратовской губернии в учительской семье. Среднее образование получил в Саратове, затем изучал философию в Берлинском и Иенском университетах. По возвращении в Россию учился на юридическом факультете Петербургского университета. После появления «Дикой порфиры» ощутил вкус успеха. Выход сборника отметили положительными рецензиями влиятельные литераторы того времени Н.Гумилев, В.Гиппиус, Г.Чулков, С.Городецкий, Б.Садовский. Автор упоминал о десятках отзывов на книгу. По утверждению литературоведа Льва Озерова, Зенкевич дебютировал «с полноценной поэтической программой, имевшей важное значение и для поэзии акмеистов, и для всей русской поэзии» [Озеров 1994: 13]. Игнорируя заоблачные мистические высоты символистской поэзии (уже сделавшейся к тому времени объектом эстетической критики), Зенкевич ранней поры объявлял себя певцом земных стихий, проявлял интерес к праисторической эре земли, поэтизировал прозу жизни. Молодой Борис Пастернак ценил его склонность к метафористике с опорой на реальность. Эпиграфом к сборнику Зенкевич взял строки из стихотворения Е.А.Баратынского «Последняя смерть» (1827): «И в **дикую порфиру** древних лет / Державная природа облачилась» (подчеркнуто нами – И.З.). Приведенный эпиграф объясняет реминисцентное звучание заглавия – «Дикая порфира» (с. 43).

В советский период Михаил Зенкевич продолжал писать стихи, возлагая надежды на будущее. Но большая часть его поэзии и прозы в то время не сделались достоянием читателей по объективным причинам. Теперь мы объясняем этот прискорбный факт непоколебимостью нравственной позиции автора, не желавшего изменять памяти своих бывших друзей – акмеистов, часть которых пострадала в годы идеологического противостояния.

Писатель вынужден был переключиться на переводческую деятельность и зарекомендовал себя в отечественном литературном мире чутким к слову и продуктивным переводчиком зарубежной классической и современной поэзии. Вслед за русскоязычными поэтическими переводами с английского, немецкого и французского он переключился и на переводы с других языков.

Зенкевич признан одним из основателей современной школы русского стихотворного перевода, ему принадлежит несколько авторских переводческих антологий. В 1956 году он опубликовал в Москве книгу переводов «Антология болгарской поэзии», а в 1966 году при посещении Болгарии был награжден орденом Кирилла и Мефодия первой степени за за-

слуги в области славянской культуры. Популярна его антология «Стихи зарубежных поэтов в переводе М.Зенкевича» (Москва, 1965).

1921-ый год – год смерти А.Блока и гибели Н.Гумилева – оказался памятным эмоциональным рубежом для Зенкевича. Предпринятая им в тот год поездка в Петроград из Поволжья и состоявшаяся долгожданная встреча с давними друзьями-литераторами А.Ахматовой, Ф.Сологубом, М.Лозинским и др. послужила толчком к написанию мемуаров. Работа была начата во время проживания Зенкевича в Саратове, а затем продолжалась после переезда писателя в Москву (1923). Завершение труда датировано 1928 годом.

Произведение, получившее название «Мужицкий сфинкс», составило часть сводного мемуарного петербургского текста, запечатлевшего *по горячим следам* лично выстраданную автором гибель старого Петербурга. Ахматова, ознакомившись с рукописью мемуаров, отозвалась: «Какая это неправдоподобная правда!» [цит. по: Озеров 1994: 33].

В то время как в Москве Зенкевич создавал мемуарный текст об умирающем Петербурге, в Париже трудился над разработкой сходной темы писатель-эмигрант *Георгий Иванов* (1894-1958). За рубежом проблемы публикации рукописной продукции разрешались естественным образом, и «Петербургские зимы» Иванова – книга «полубеллетристических фельетонов» (авторское жанровое обозначение) – стала доступна читателям в 1928 году, а тематически и жанрово перекликавшийся с произведением Г.Иванова текст Зенкевича увидел свет с колоссальным запозданием.

Книга «Мужицкий сфинкс» дошла до читателя лишь в 1994 году – через шестьдесят шесть лет после написания вещи и двадцать один год спустя после кончины писателя. На одном персонаже, выведенном в обоих произведениях, мы в дальнейшем сопоставим разницу в подходах у московского и парижского мемуаристов.

«Мужицкий сфинкс» задуман Зенкевичем как мемуарный роман, соответственно и «Петербургские зимы» мыслились Ивановым «как единое целое». Прозаик-рецензент Марк Алданов (в журнале «Современные записки» – Париж, 1928, кн. 37) усматривал жанровое своеобразие книги Георгия Иванова в соединении событийной достоверности и обобщенности осмысления пережитого его современниками исторического потрясения [см.: Иванов 1994: 638]. Но, в отличие от беллетризированной мемуарной панорамы Иванова, у Зенкевича представлена четко оформленная романная модель.

Повествование, снабженное жанровым уточнением *беллетристические мемуары*, разделено на 45 глав, обозначенных римскими цифрами. Каждая глава, наряду с цифровым обозначением, снабжена и тематически

ориентирующим заглавием. Заглавия могут быть условно разделены на *предметные* и *отвлеченные*. Объединяются они авторскими рефлектирующими впечатлениями, связанными с переживаемым временем и с реминисценциями из нетленного мира культуры.

Автор устранял границы между фантазностью и реальностью. Заглавие «Мужицкий сфинкс» заимствовано из стихотворения в прозе И.С.Тургенева «Сфинкс». Тургеневский мифологический образ мысленно сопоставляется повествователем с таким мистически загадочным народным типом, как Платон Каратаев у Льва Толстого («Война и мир»). Мужик Семен Палыч, изображенный Зенкевичем, укрыл мемуариста «на пашне» «от преследования петербургских кошмаров» и в результате повлиял на его дух так же благотворно, как Платон Каратаев на Пьера Безухова в «военную страду» (с. 557). Образ *мужицкого сфинкса* мыслится автором как ключевой символический образ с введением разноплановых коннотаций – как жизнеподобных, так и литературно-мифологических (ср. синтезированный образ сфинкса в романе А.Белого «Петербург», 1912).

В повествовании Зенкевича мы обособляем мемуарный *петербургский текст*, скрепленный темой гибели Петербурга. Выделенный нами тематический пласт разрабатывался поэтами и мемуаристами из литературно-художественных кругов, близких автору «Мужицкого сфинкса». В культурном сознании нации сводный *петербургский текст* интенсивно развивался и приобретал диссонансное звучание в XIX веке в произведениях А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского.

В период Серебряного века наблюдалось ощутимое нарастание содер­жательной объемности *петербургского текста* (авторы, определявшие ориентиры, – А.Блок и А.Белый). Новый виток развития сводного литературного текста о Петербурге (притом *текст* с мемуарной жанровой спецификой) приходился на разрушительный период гражданской войны, когда северный мегаполис российской культуры обрастал документально-художественными признаками *некрополя*.

*Петербургский текст* Серебряного века связан с *петербургским мифом*, в основе которого заложено предсказание гибели городу при самом его основании. Зловещее предсказание исходило от Авдотьи Лопухиной, первой жены Петра Первого, сосланной им в монастырь. Проклятие опальной царицы передавалось из уст в уста: «Петербургу пусты быти» [Долгополов 1977: 4 («Миф о Петербурге и его преобразование в начале века»)]. В XX веке тематическая линия, связанная с возвеличением города на Неве, воспринималась как риторическая, а преобладала в литературе о Петербурге лейтмотивная линия *призрачности* города.

В «Мужицком сфинксе» Михаила Зенкевича распознается композиционно монолитный *мемуарный роман* с использованием литературных приемов, построенных на сочетании *документальное/ фикциональное*. Лирическая природа мемуарного романа обусловлена тем, что автор-повествователь выражает собственные эмоции и впечатления в лично окрашенной речевой манере. Гипертрофированная образность воображения героя-повествователя психологически мотивирована: он рассказывает о том, что заболел тифом, и передает псевдогаллюцинации тифозного больного посредством описаний. Повторность поразившего рассказчика заболевания дает ему основание говорить о более продолжительном паратифозном состоянии, в границах которого погруженность в воспоминания не контролируется сознанием.

В кратком обращении к читателю, предваряющем роман («Вместо предисловия»), ставится риторический вопрос: «Зачем понадобилось автору идти самому и манить за собой читателя по горячечной пустыне сыпнотифозного бреда к оазисам живой действительности?». Ответ служит раскрытию индивидуального творческого метода художника-мемуариста: «Пользуясь приемом бредового смещения событий в искаженной перспективе времени, автор выплескивает из глубинных тайников души до отчаяния близкие образы, давно канувшие в Лету» (с. 412). Автор декларирует свой лирико-психологический настрой, заостряет мысль об автобиографической основе романизированной событийности и афористически определяет стилевой инструментарий произведения: «фантастический лабиринт лирического повествования» (с. 413). К создателю «Мужицкого сфинкса» приложимо творческое самоопределение Михаила Булгакова – создателя «Мастера и Маргариты»: «я мистический писатель» и «я правдивый повествователь».

Событийная завязка мемуарного романа Зенкевича («I. Синее пальто вместо красной свитки») уже в заглавии содержит переключку с Н.В.Гоголем-фантастом, с его «Сорочинской ярмаркой» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Глава начинается мотивом проклятия близкому когда-то городу, в котором повествователь оказался по воле случая: «Какой дьявол занес меня в этот мертвый страшный Петербург!». Упоминания об исторических фактах подсказывают, что действие происходит в 1921 году. Мотив проклятия прозябающему городу сменяется в той же главе мотивом «неожиданной радости» свидания с ним после «четырёхлетней разлуки». Перспектива снова увидеть «Неву, гранитные набережные, Адмиралтейство, Исаакий, Сенатскую площадь с Медным всадником» сравнивается с предвкушением «свидания с любимой женщиной» (с. 414). Активизируется синтезированный Александром Блоком в

поэме «Возмездие» мотив двуединого чувства *любви/ненависти* к искорененной общественным антагонизмом России. Зенкевич применяет блоковский мотив *любви/ненависти*, описывая личное восприятие бедствующего Петербурга. Тем самым данный мотив типологизируется. Мотив *привязанности* к городу усилен обилием привлекаемых топонимов. Автор-повествователь осведомляет читателей и о последующих переименованиях отдельных петроградских улиц и площадей.

При подключении *бытового* плана к *лирическому* плану герой испытывает объяснимое для тех катастрофических лет потрясение при известии о пропаже незаменимой для него вещи – демисезонного пальто. Событие кражи теплого пальто в холодном городе воспринимается повествователем как знак вступления в область иррационального: «...я тогда не подумал, что это синее английское пальто будет для меня чем-то вроде дьявольской красной свитки, за пропажей которой последует целый ряд приключений и событий» (с. 416). В финале первой главы смыкаются *бытовой* и *литературно-реминисцентный* планы.

Вторая и третья главы выдержаны в плане беллетризированной достоверности. Повествователь посещает своих старых литературных друзей Михаила Лозинского и Анну Ахматову – первый пребывает по службе в холодном помещении нетопленной Публичной библиотеки, а вторая временно работает в библиотеке Агрономического института («Ш. У камина с Анной Ахматовой»). Совместно с Ахматовой авторский персонаж как бы заново переживает горестные факты смерти Александра Блока и гибели Николая Гумилева. Из разговора повествователя с Ахматовой уточняется, что именно она явилась инициатором их развода после возвращения Гумилева из Парижа «во время войны». Жизнеподобная нарративность к концу третьей главы как бы вырывается за пределы реального.

После разговора с Ахматовой о Гумилеве герой замечает на улице, в трамвайной толпе, двойника расстрелянного Гумилева. Двойник материализуется в образ друга-поэта посредством впечатляющей словесной портретистики, – с «немигающим стеклянным взглядом», «...неправильное, холодное, деланно-высокомерное лицо и серые, слегка косые глаза» (с. 422).

С главы четвертой («Ночной визит доктора Кульбина») заболевающий тифом герой вступает в призрачный мир Петербурга Серебряного века. Отныне периодически возникающие фрагменты глав о реальной бытности города в начале двадцатых годов будут связаны с авторскими ощущениями мертвенности жизни, а оживающий в тифозных галлюцинациях героя Петербург прошлого будет источать поэтическую притягательность.

Совершается переход повествования на мистический уровень, ибо автор отныне намеревается общаться с обитателями *призрачного* пространства. «Проклятый» город не отпускает его от себя. В авторском нарративе реализуется совмещение двух стиливых линий – бытописание и фантастика. Эстетическое оправдание подобного двойственного подхода заключается в особой живописности и психологической проникновенности описаний, связанных с погибшим культурным миром. Органичность оппозиции *воображаемое/ реальное* стимулируется обостренным чувством ностальгии по старому Петербургу. Исторические лица в мемуарах Зенкевича преобразуются в мифологические образы.

Первый призрак, посетивший авторского персонажа на дому, – доктор Николай Кульбин (1866-1917). Магическая атмосфера позднего вечера на съемной квартире подготавливается чтением «Пиковой дамы» – петербургской повести Пушкина, где герой так же переживает посещение умершей старухи-графини. Литературный портрет Кульбина – доктора и искусствоведа, художника-оформителя артистического кафе «Бродячая собака» – выполняется в объективированной манере, которая превращает фантазность действий призрака в творчески мотивированную реальность. Действие происходит как бы в *четвертом измерении*, как в *нехорошей квартире* у Булгакова («Мастер и Маргарита»).

Заболевающий герой получает от покойного доктора непонятный рецепт, написанный на старом календарном листке. И этот рецепт с загадочными иероглифами («каббалистическими знаками») беспрепятственно принимается служащим в аптеке прошлого. В отличие от шаржированного, анекдотического изображения Николая Кульбина в «Петербургских зимах» отчужденно пристрастным Георгием Ивановым (вероятно, недовольным привязанностью доктора к чуждым ему футуристам, принявшим революцию), Зенкевич держится в рамках художественно-изобразительной нормы. Ностальгия по прошлому выражается у него в облагороженной эстетизированной форме, не допускающей тенденциозных пристрастий или же антипатий. Композитор Артур Лурье называл Николая Кульбина «одной из самых фантастических фигур той замечательной эпохи», а относительно упомянутой Г.Ивановым «коронации» Кульбина «футуристическим царем» отзывался как о «пошлом пасквиле» [Лурье 1999: 433-434]. В памяти современников доктор остался бескорыстным альтруистом и деятельным творцом изобразительного искусства.

Следуя развитию событийного сюжета, заметим, что Кульбин написал повествователю *пассеистические* пилюли, т.е. лекарственное средство, задерживающее пациента в прошлом. И в аптеке «на Ружейной площади» происходит знаменательное для грезящего прошлым героя явление

прекрасной незнакомки – изящной дамы с «золотым ридикюлем», «будуарным запахом духов» и «загадочной усмешкой» (припомним «Незнакомку» А.Блока: «...дыша духами и туманами...»). В последующем эпизоде их знакомства повествователь вспомнит о даме как о «незнакомке» из «аптеки на Ружейной» (с. 438).

Встрече героя с незнакомкой предшествует другая знаменательная встреча: «У Народного, бывшего Полицейского моста» под фонарем, «напоминающим фонарь похоронной процессии, стоял Гумилев» (с. 430). Призрачный петербуржец в трамвайной очереди с чертами внешности Гумилева подвергается материализации в главе седьмой («На проспекте 25 октября»).

Введение лица, обвиненного в контрреволюционном вооруженном заговоре и недавно расстрелянного, в мемуарный петербургский текст 1920-х годов было актом гражданской доблести со стороны Михаила Зенкевича. Зафиксированные воспоминания о былой близости с тем, кто попадал под ярлык «враг народа», могли в любой момент обернуться обвинительным актом против самого автора. В изображении создателя «Мужицкого сфинкса» фигура Гумилева, проповедующего о необходимости «быть в центре литературных движений» (с.432), подобно магниту, притягивает к себе сотрудников журнала «Аполлон». Оживают обстановка и ритуалы посетителей ночного литературно-художественного кафе «Бродячая собака» – несмотря на то, что в главе о бытности Петербурга 1921 года повествователь убедился, что на месте кафе остался заколоченный досками подвал. Воскрешается атмосфера эстетических выступлений и диспутов (А.Блок, А.Белый, Вяч.Иванов, И.Анненский, С.Игнатъев и др.). Живые к моменту написания мемуаров лица помещены Зенкевичем наравне с почившими в галерею незабвенных культурных деятелей Петербурга.

Гумилев знакомит авторского персонажа с «интересной женщиной» (с. 438). В главе восьмой («Вечер в «Аполлоне») в действие вступает романная героиня Эльга.

В 1978 году (за год до смерти) вдова писателя Александра Николаевна Зенкевич подготовила заметку «Слово свидетеля», где уточнила относительно рукописи «Мужицкого сфинкса»: «Кто Эльга? Конечно, Ахматова; точнее, она стала прообразом этой демонической героини. С ней у Михаила Александровича связана, по-видимому, лирическая история предреволюционных лет, едва не закончившаяся трагедией» (с. 658).

Имя *Эльга* заимствовано из стихотворения Гумилева «Ольга» (1911) с начальной строкой: «Эльга, Эльга!» – звучало над полями...» [Гумилев 1988: 332 (из сб. «Огненный столп», 1921)]. Переживает любовную историю с Эльгой «темное подсознательное “я”» повествователя, пропускаю-

щее как бы «через освещенный экран сознания бессвязные смонтированные памятью фантастические по своей путанице» эпизоды и картины (с. 442). Эпизоды и картины прошлого оживляют «мертвый город» (с. 443), а герой-повествователь тем временем помещен в больницу с подозрением на что-то вроде «тифозного психоза» или «раздвоения личности» (с. 453).

Наиболее развитая романическая линия в «Мужицком сфинксе» связана с образом Эльги. Авторское уточнение жанра *беллетристические мемуары* предполагает достоверную основу описанного. Героиня выступает в двух планах – реальном и фантастическом. Для реального плана она – Анна Ахматова, а для фантастического плана, вытесняющего реальный в пространстве деформированного болезнью сознания авторского персонажа, она – Эльга Густавовна. Вымышленное имя в мемуарном материале сигнализирует о чертах условности в образе, имеющем реальный прототип.

Для аналогии соотнесенности представим себе героиню «Стихов о Прекрасной Даме» А.Блока в сравнении с Любовью Менделеевой. Созданный автором «Мужицкого сфинкса» образ – еще одно литературное зеркало Ахматовой, замечавшей, что она отражена «в ста зеркалах». *Зеркало* Зенкевича намеренно замутнено приемом беллетризации фактических событий. Поэтизируется внешность Эльги – утонченность и одухотворенность ее красоты, образованность и дар власти над мужскими сердцами. В раскованной манере рисуется ее сексуально-эротическая привлекательность. Женские чары Эльги испытаны самим автором. В любовном сюжете картинно реализуется жизнотворческий дух пережитой литературной эпохи, когда поэзия диктовала свои установки жизни. Зенкевич не был исключением из числа петербургских поэтов 1910-х годов, которые унаследовали от символистов стремление «найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства» (формулировка Владислава Ходасевича в очерке «Конец Ренаты» – Париж, 1923).

Собирательность образа Эльги оговаривается в тексте: в ней «соединились в один близкие когда-то мне, обаятельные образы тех девушек и женщин, которых я любил или думал, что люблю» (с. 470). Типологизация женской модели подкреплена и известным для историков литературы эпизодом. Нашумевшая дуэль М.Волошина с Н.Гумилевым за честь Черубины де Габриа (поэтессы Елизаветы Дмитриевой) вариативно дублируется. Дуэль состоялась 22 ноября 1909 года на Черной речке, где произошел поединок Пушкина с Дантесом [Волошин 1990: 229 («История Черубины», 1930)]. В «Мужицком сфинксе» дуэль спровоцирована Гумилевым в знак ревности к повествователю, а объект ревности – Эльга. Дуэль с бла-

гополучным исходом происходит на пушкинской голгофе – на Черной речке.

Женские чары Эльги сюжетно подключают еще одну романическую линию произведения, связанную с мифологизированным историческим лицом, – с Григорием Распутиным, фаворитом царской семьи Романовых. Распутин был убит в декабре 1916 года во дворце графа Феликса Юсупова на Мойке за скандальное поведение, внушенное чувством вседозволенности, за гипертрофированный аморализм, ставший нестерпимым для высших монархических и церковных кругов.

Достоверные биографические данные о Распутине содержатся в мемуарах Мориса Палеолога, состоявшего послом при дворе Николая Второго. В книге «Царская Россия накануне революции» (Москва, 1923) среди достоверных фактов, сообщенных Палеологом, раскрывается смысл фамилии религиозного проповедника. Подросшему сыну бедного сибирского мужика Ефима Нового в среде крестьянских парней дали прозвище *Распутин*: «...это слово из крестьянского языка, произведенное от слова *распутник*, которое значит “развратник”, “гуляка”, “обидчик девушек”» [Палеолог 1991: 106]. В оценке мемуаристики Зинаиды Гиппиус, Распутин «как личность – ничтожен и зауряден», но «как тип – он глубоко интересен...» [Гиппиус 1991: 63 («Маленький Анин домик. Вырубова», 1923)].

В мемуарном романе «Мужицкий сфинкс» Распутин олицетворяет собой развенчанного мессию монархизма. Он присутствует в доме Эльги по случаю пятой годовщины со дня своей смерти («– ...Годовщину по мне справляешь. Кутью сварила. ...Садись за стол, угошай поминальника» с. 498). В главе двадцать шестой («Бутылка с крещенской водой») Распутин принимает Эльгу в собственном доме, пытаясь сломить ее сопротивление («–...Злюсь я на тя. Пошто любви моей чураешься?» с. 507).

Но главная задача самозванного мессии в его призрачном посмертном облике – сохранение благоденствия царской семьи, которая уже была казнена в Екатеринбурге. Свершилось пророчество «старца», обращенное к венценосным особам: «– Ежели меня не будет, и вас не будет, кака моя смерть, така и ваша» (с. 509). После 1916 года наступил 1917-ый, год отречения российского императора от престола, а затем и 1918-ый – год гибели семьи Романовых.

Фигура царя Николая Второго у Зенкевича – воплощение безволия и безличности, что соответствовало его призрачному существованию на страницах беллетристических мемуаров. В главе XXVII («Ливадийские розы») Николай признает свое поражение, говоря офицерам: «Мне больше помочь ничто уже не может, кроме молитв и вот этой крещенской воды от

нашего друга» (имеется в виду Григорий Распутин, продолжающий заботиться о царской династии и после собственной смерти).

Создатель «Мужицкого сфинкса» писал петербургские главы мемуарного романа, не отделяя себя от пережитого прошлого. Он превращал исторические «тени» в «людей из плоти» (с. 412), выдвигая на первый план их творческую одаренность и не вдохновлялся ролью скептического критика, каким позиционировал себя Георгий Иванов. Тенденциозный подбор вымышленных фактов в «Петербургских зимах» сводится к односторонней авторской мысли о *саморазрушении* петербургской культуры. Фельетонность Г.Иванова, на наш взгляд, методологически проигрывает на фоне романизированной лиро-эпики М.Зенкевича. Но Иванов привлекает читателей обилием фактов из литературного прошлого Петербурга, по сравнению с локальной тематикой Зенкевича.

Неистребимость духа деятелей Серебряного века символизирует в «Мужицком сфинксе» вездесущая Эльга. В 1940 году мифическая Эльга приступила к автобиографическому самовыражению. В стихотворном романе Анны Ахматовой «Поэма без героя» (1940-1962) первая часть триптиха, озаглавленная «Девятьсот тринадцатый год», носит подзаголовок *Петербургская повесть*. Обозначается эксплицитная связь с А.С.Пушкиным: *Петербургская повесть* – подзаголовок поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник». Третьей главе ахматовской поэмы предпослан эпитафия из О.Мандельштама: «В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем...» (это начало стихотворения 1920 года, посвященного городу). Петербургский текст литераторов-акмеистов уплотнялся и мыслился как продолжение классиков XIX века.

«Поэма без героя» Ахматовой авторским подходом и методом наиболее тесно связана с «Мужицким сфинксом» Зенкевича. Оба произведения объединены чувством ностальгии по общему культурному прошлому. Сближаются и методы создания двух мемуарных романов – прозаического и стихотворного: автобиографизм, устойчивость лирического настроения, призрачные персонажи с реальными прототипами, фантазное преобразование лично пережитого. В «Прозе о Поэме», во фрагменте 1961 года, Ахматова указывала на отличительное свойство выстраданного ею произведения: «...этот волшебный напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем-то во сне или в ряде зеркал...» [Ахматова 1990: 258 (из «Прозы о поэме»)]. Зенкевич так же ввел мотив зеркал в эпизоде общения повествователя с Эльгой («XV. Семь зеркал из луна-парка»).

Метафорическое преобразование достоверной основы мемуаров, составляющих исторически обусловленный и хронологически уточненный

*петербургский текст*, превращало пережитое в эпос, создавало феномен «неправдоподобной правды» мемуаристики (см. Ахматова о «Мужицком сфинксе» Зенкевича). Текст о пережитом в настоящем, обращенный к будущему, не может ограничиваться ни фактологичностью, ни провокативным сочинительством. Из пережитого в Петербурге художники слова сделали русскую *гофманиаду*. Это было время актуализации художественных идей немецкого писателя-фантаста XIX века Амадея Гофмана (оперирование фантастикой на почве достоверности). «Моя гофманиада» – говорила о своей «Поэме без героя» Анна Ахматова. Определение *гофманиада* применимо и к *петербургскому тексту* Зенкевича.

### ЛИТЕРАТУРА

- Ахматова 1990 – *Ахматова А.* Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990.
- Волошин 1990 – *Волошин М.* Путник по вселенным. М., 1990.
- Гиппиус 1991 – *Гиппиус З.* Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, 1991.
- Гумилев 1988 – *Гумилев Н.* Стихотворения и поэмы. Л., 1988.
- Долгополов 1977 – *Долгополов Л.* На рубеже веков. Л., 1977.
- Зенкевич 1994 – *Зенкевич М.* Сказочная эра. Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары. М., 1994.
- Иванов 1994 – *Иванов Г.* Собрание сочинений в трех томах. Т. 3. Мемуары, литературная критика. М., 1994.
- Лурье 1999 – *Лурье А.* Наш марш (1969) // Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999.
- Озеров 1994 – *Озеров Л.* Михаил Зенкевич: тайна молчания // Зенкевич М. Сказочная эра. Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары. М., 1994.
- Палеолог 1991 – *Палеолог М.* Царская Россия накануне революции. М., 1991.

## ЯПОНСКАЯ ПОЭЗИЯ И РУССКИЙ ПРИМИТИВИЗМ: ОБ ОДНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В «Школе для дураков» Саши Соколова герой, работник почтовой железнодорожной конторы, читает товарищам стихотворение средневекового японского поэта Догэна («Изначальный образ»):

Цветы – весной.  
Кукушка – летом.  
Осенью – луна.  
Чистый и холодный снег –  
Зимой [цит. по: Григорьева 1993: 17].

Затем между ними происходит такой разговор:

Ф.Муромцев: все? С.Николаев: все. Ф.Муромцев: почему-то немного, Семен Данилович, а? Маловато. Может, там еще что-то есть, возможно, оборвано? С.Николаев: нет, все, это такая специальная форма стихотворения, есть стихи длинные, поэмы например, есть короче, а есть совсем короткие, в несколько строк, или даже в одну. Ф.Муромцев: а почему, зачем? С.Николаев: да как тебе сказать, – лаконизм [Соколов 1990: 44].

Предельного лаконизма японская классическая поэзия достигла в форме *хокку* (более распространен термин *хайку*, хотя правильной, как предлагает Н.И.Конрад, закрепить *хокку* за наименованием строфы, а *хайку* – за обозначением определенного жанра [Конрад 1974: 57-58]). Нечетное количество стихов, как и их исключительно слоговая соразмерность, – вещь для русского слуха непривычная. Мы предпочитаем четное число строк, которые измеряем не слогами, а группами слогов – стопами. Хокку – нечетно-силлабическая и -стиховая конструкция (17 слогов, распадающихся на три стиховые единицы: 5+7+5 слогов), вмещающая пять-семь (но не более восьми) слов.

Конторщикам из «Школы для дураков», далеким от японской поэзии, такая стиховая форма показалась бы ущербной («может, там еще что-то есть, возможно, оборвано?»). Впрочем, ее «изъян», с точки зрения обыденного сознания, легко устраним. Четвертая строка превратила бы асимметричное трехстишие в знакомый и милый русскому слуху катрен.

«Финитной» логикой руководствовались и авторы проекта по дописыванию хокку. В предисловии от наивного читателя, не терпящего незавершенности в искусстве, сказано:

Нам всегда казалось странным, что весь мир так восхищается разными недоделанными вещами, принимая недоделанность за какие-то изыски. <...> Мы не только сами добросовестно доделываем всё свое, но также считаем своим моральным долгом исправлять то, что недоделали до нас другие. Долгое время принято было восхищаться недописанными японскими трехстишиями, так называемыми хокку или хайку. Наконец мы нашли время, чтобы... доделать то, что поленились доделать японцы [Белобров, Попов www].

По этому пути пошел Герман Лукомников [Лукомников 2001] (далее в статье стихотворные примеры приводятся с указанием страницы в скобках). Чтение автором стихов с предисловием к книге доступно на сайте: <http://www.videonet.ru/view.html?id=g6HY9v50s6433ez>. См. также расширенные версии «хокку плюс» 2000 г. и 2006 г.: <http://vavilon.ru/bgl/hok.html>; <http://vavilon.ru/bgl/whok.html>; <http://lukomnikov-1.livejournal.com/117841.html>; <http://lukomnikov-1.livejournal.com/120373.html>; <http://lukomnikov-3.livejournal.com/79069.html>. Дополнив хокку новой строкой, он преобразовал классическое трехстишие в неклассическое четверостишие – образец примитивистского текста. Примитивизм как сфера профессиональной литературы, имитирующей наивное письмо, включает примитив в рамки культуры на правах художественного стиля (О примитивизме в поэзии см. работы Д.М.Давыдова, в частности [Давыдов 2004, 2008]). Большинство произведений Лукомникова – результат авторской стратегии, «нацеленной на разрушение канонов и стандартов профессионального литературного письма» [Чупринин 2007: 336]. «Упрощение» художественного языка лежит в русле редуccionистских приемов минимализма, где прибавление всего одной строки меняет модальность текста. Это достигается, во-первых, деформацией исходной строфической модели и, во-вторых, включением фигуры наивного автора в чужое поле культуры (о принципах «завершения» Лукомниковым переводов японских трехстиший см. [Абрамовских 2006: 168-176]). Прежде чем рассмотреть механизмы художественной «переделки», обратимся к японскому трехстишию как жанру.

Генетически хокку восходит к пятистишию *танка*, являясь его первой строфой (*хокку* – букв. «начальные строки»). Отпочковавшись от пятистишия, хокку стало самостоятельной формой, представленной в период расцвета (XVII в.) тремя линиями. Первая соответствует «традиционной

японской поэтичности, хотя и сниженного типа». Вторая резко снижает стиль, «рассматривая хокку как поэзию гротеска, почти трюка... по содержанию – главным образом комическую...». Третья, связанная с творчеством Мацуо Басё, возвращает хокку в лоно «высокой» поэзии [Конрад 1974: 55]. Именно Басё превратил хокку в самый известный жанр японской поэзии – хайку (о хайку в истории японской поэзии см. [Кин 1978; Бреславец 1994; Shirane 1998; Долин 2007; Савилов 2007]; о поэтике хайку см. [Бреславец 1981: 71-140; Дьяконова 1985: 196-207, 1995: 262-283, 2007: 337-352; Kawamoto 2000]). От танка хайку отличается «простотой поэтического языка, отказом от прежних канонических правил, повышением роли ассоциативности, недосказанности, намека» [Борони-на 1975: стб. 303]. Языковой «аскетизм» хайку (ограниченность в метафорах, эпитетах) продиктован желанием «словесно обрисовать деталь, которая мысленно вызывала бы представление о целой картине» [Конрад 1956: 10]. Интересно, что состоящее из 17 слогов хокку по-японски записывалось в одну строку, а при переводе на русский – всегда в виде трехстишия (перевод на европейские языки сопровождался записью в форме двустишия, трехстишия, четверостишия) [Дьяконова 2007: 343].

В тематическом отношении хайку – «лирическое стихотворение о природе, в котором непременно указывается время года» [Маркова 1985: 13]. Знаком времени года является обязательное «сезонное слово» (*киго*), рождающее ряды образов. «“Сезонные слова” образуют своеобразные “формулы времени года”, или темы, воссоздающие определенные картины природы и вызываемые ими чувства почти автоматически» [Дьяконова 2007: 345]. Не случайно о поэтике хайку говорят как о поэтике формульности. «Еще до создания стихотворения поэт “выбирает” из каталога тем, например, образ “поющие цикады”; для носителя традиции немедленно разворачивается цепь ассоциаций: осень – печаль – белый цвет, поскольку цикады поют особенно пронзительно осенью, это пение навеивает грусть особого толка – конец лета, конец жизни, наступление холодов; белый цвет связан с предзимним увяданием трав, выбеленностью камней, травы, белесыми туманами и “белым” холодным ветром (японцы различают ветра по цветам) и т.д. <...> Понять формулы – значит понять традицию. Это одна из причин, почему поэзия трехстиший не на японской почве, а в Европе, Америке или в России, лишаясь культурного контекста, теряет целые гроздья смысла» [там же: 346].

Хайку – излюбленный объект переводов [см., например: Маркова 1968: 267-282; Долин 1987: 89-126; Кудря 1999: 74-79; Sütiste 2001: 563-586; Орлицкий 2003: 83-96, 2004: 304-314]. Порой не обходится без стилистических курьезов, вызванных желанием приукрасить японские стихи.

Переводившим их в начале XX в. казалось, что японская поэзия утрачивает «яркость и величие образов» [Позняков 1905: 47] (о японской поэзии в русском культурном сознании начала XX в. см. [Азадовский, Дьяконова 1991]). В этом сказались вкусовые пристрастия эпохи. Так, англо-американские переводы XIX – начала XX в. (Б.Чемберлен, В.Н.Портер) не свободны от ложно понятой красоты, превращающей старинный текст в «альбомное» стихотворение [см.: Маркова 1968: 272-273]. Что касается переводов В.Марковой, то отмечалась их «поэтичность», чуждая, например, современным английским переводам [см.: Шамир 2000: 8]. Сошлюсь на известный пример, демонстрирующий различие переводческих стратегий. Ниже даны три перевода хайку Басё.

Первый – В.Марковой:

*В гостинице*

Со мной под одною кровлей  
Две девушки... Ветки хаги в цвету  
И одинокий месяц [Басё 1985: 83].

Второй – Т.Бреславец:

В одном доме со мной  
Куртизанки остановились.  
Хаги и луна [Бреславец 1981: 96].

Третий – подстрочник англоязычного перевода Р.Хасса:

отдыхаю в ночлежке,  
в той же, где спят проститутки, –  
луна над цветами хаги [цит. по: Андреев 1999: 83].

Несмотря на разницу переводов, во всех трех сохраняется аналогия между поэтом – месяцем (луной) и его случайными спутницами – ветками (цветами) хаги. Басё «не противопоставляет эти два мира, а объединяет их с позиций своей эстетики, которая в высоком и низком видит единую сущность красоты. В этом смысле не случайно выбранные “сезонные слова” (“хаги” и “луна”) относятся к одному времени года – осени» [Бреславец 1981: 96].

Впрочем, особенности мировосприятия Басё едва ли интересуют Г.Лукомникова. Избирая объектом художественной трансформации переводы В.Марковой, он отталкивается от них как от широко известных,

ставших классическими. Четвертая строка выглядит структурным и семантическим недоразумением. Дело не только в ее избыточности, а в том, что она зарифмована. Японской силлабике, где длина стихов в хокку не превышает 7 слогов и улавливается на слух, рифма была не нужна. Ее появление в четных стихах (нечетные остаются холостыми) делает концевое созвучие изоморфным русской частушке (наблюдение Е.В.Абрамовских) или стихотворениям песенного либо балладного типа:

Со мной под одною кровлей  
Две девушки... Ветки хаги в цвету  
И одинокий месяц...  
ЭТУ ВЫБРАТЬ ИЛЬ ТУ?

(с. 82)

Хотя четверостишие не делится, как в частушке, на два полустрофия, контаминация частей, написанных разными поэтами, имеет в японской поэзии свою форму (строфа *рэнга* – цепочка трехстиший и двустиший, создаваемых по принципу переключки двумя и более авторами на заданную тему). Не пытаясь предстать участником средневекового состязания, Лукомников добавляет лишний стих, который сближает центонные катрены с комическими рэнга (о поэтике рэнга см. подробнее [Конрад 1974: 46-51]; о рэнга в контексте японской культуры см.: [В сторону рэнга 2004: 386-407]). Их жанровым воплощением могло бы стать *сэнрю* – «шуточное и отчасти пародическое стихотворение, тем не менее почти никогда не переходящее в сатиру». Если цель *сэнрю* – комически изобразить отдельные стороны жизни горожан:

Во всем городе  
Лишь один и слеп, и глух:  
Свой законный муж [Конрад 1974: 61],

то Лукомников доводит до абсурда присущее японцу «чувство природы»:

Дождь в тутовой роще шумит...  
На земле едва шевелится  
Больной шелковичный червь.  
МОЖЕТ, ЕГО В БОЛЬНИЦУ?

(с. 19)

На смену буддистской созерцательности приходит неожиданная для японца готовность действовать. Причем характер усилий гротескно завышен. Лукомников устраняет «дальний» план (печаль, одиночество, передаваемые через шум дождя и беспомощность шелковичного червя), заменяя «тождественность внутренней жизни всех вещей» [Дьяконова 1995: 271] пародическим очеловечиванием малого существа.

Самостоятельность четвертого стиха отмечена графически: он набран прописными буквами и отделен от хайку рисунком. Автор иллюстраций – Ася Флитман (рисунки А.Флитман доступны на сайте: <http://простотак.livejournal.com/profile>), чья манера во многом близка эстетике примитива в изобразительном искусстве. Рисунок «дублирует» вербальное сообщение, оставляя зазор между словесным образом и его визуальной репрезентацией минимальным. При этом речь не идет об «услужливой стопудовой “конкретизации” рисунка», которая вредит литературному тексту [Тынянов 2002: 457]. Иллюстрирование стихов, по мнению Ю.Н.Тынянова, – дело трудное, почти безнадежное. Но художник «...Хокку плюс» с ним справилась: принцип рисунков «конструктивно аналогичен принципу данного поэтического произведения» [там же: 463]. (О соотношении слова и иллюстрации см. также [Иллюстрированная книга 2002]. В японской культуре существует особый жанр *хайга* – текст, совмещающий рисунок кистью и хайку в каллиграфическом исполнении. Современные хайга за пределами Японии могут создаваться с использованием приемов европейской графики и живописи, в том числе техники примитива [см.: Шляхов, Жуковская 2007: 130-143].)

Смысловые отношения между переводами хайку и строкой Лукомникова разнообразны. Замечу сразу, что эстетическое качество текста не является принципиальным моментом. Современное стихотворение «ориентируется на когитивно-когнитивную редупликацию, изоцряя свои изобразительные и языковые приемы, сталкивая их с приемами конкурентов и уходя от того, чтобы стать... выраженным отношением к миру» [Сорокин 2007: 56]. Объяснение литературной техники зачастую интересней и содержательней самого произведения как объекта чисто художественного восприятия. Смысл текста не извлекается из него самого, а переносится в сферу культурного контекста, создающего условия для его интерпретации.

Многие стихотворения в «...Хокку плюс» строятся на семантической избыточности финальной строки. Она не содержит никакой новой мысли, наблюдения или намека, свойственных хайку. Ее цель – реализовать дискурс наивного читателя, склонного воспринимать японские трехстишия как незамысловатые «стихи о природе»:

Ей только девять дней.  
Но знают и поля и горы:  
Весна опять пришла,  
И ТЕПЛО БУДЕТ СКОРО!  
(с. 15)

Плотно закрыла рот  
Раковина морская.  
Невыносимый зной!  
УЖАС, ЖАРА КАКАЯ!  
(с. 45)

Долгий день напролёт  
Поёт – и не напоется  
Жаворонок весной.  
ТАК ИЗ НЕГО И ЛЬЁТСЯ...  
(с. 50)

Сливы аромат!  
От лачужки нищего  
Глаз не отвести,  
ТАКАЯ КРАСОТИЩА ВОТ.  
(с. 70)

Четвертая строка, помимо нарушения схемы хокку, содержит совсем не японскую эмоциональность с фразеологическими признаками русской разговорной речи («УЖАС, ЖАРА КАКАЯ!», «ТАК ИЗ НЕГО И ЛЬЁТСЯ...», «ТАКАЯ КРАСОТИЩА ВОТ»). Сюда же можно отнести:

На ночь, хоть на ночь одну,  
О кусты цветущие хаги,  
Приютите бродячего пса!  
ГДЕ БЫ ВЗДРЕМНУТЬ БЕДНЯГЕ?  
(с. 4)

Качается, качается  
На листе банана  
Лягушонок маленький –  
СЛОВНО ОБЕЗЬЯНА!  
(с. 8)

Всё засыпал снег.  
Одинокая старуха  
В хижине лесной,  
КАК БОЛЬШАЯ МУХА.  
(с. 18)

В зарослях сорной травы,  
Смотрите, какие прекрасные  
Бабочки родились –  
ЖЁЛТЫЕ, СИНИЕ, КРАСНЫЕ!

(с. 27)

Неуклюжесть выделенной строки – в ее смысловом балласте. Автор под маской наивного стихотворца стремится завершить образ или договорить «сюжет». Отсюда этнокультурная «нестыковка» базовой и финитной частей катрена. Бродячий пес – коррелят странствующего поэта – нивелирует эту параллель, оставаясь единодержавным героем четверостишия. Финальные строки, связывая лягушонка с обезьяной, а старуху с мухой, разрушают самотождественность вещи, делая ее предметом субъективных ассоциаций, как в творчестве европейского поэта. (Образы лягушонка и одинокой старухи не нуждаются в аналогиях с использованием традиционных тропов – их внутренняя жизнь понятна читателю хайку благодаря общности культурного опыта.) Цветовая конкретизация бабочек превращает японца в субъекта, чей восторг перед красотой природы приобретает неожиданные формы:

Луна сияет в зимней роще.  
Я, глядя на неё, забыл  
О поэтической печали  
И УЛЫБАЮСЬ, КАК ДЕБИЛ!

(с. 35)

Уродливый ворон –  
И он прекрасен на первом снегу  
В зимнее утро!  
Я С ВОПЛЕМ ЗА НИМ БЕГУ!

(с. 93)

Четвертая строка, как видим, может не только тавтологически продолжать трехстишие, но и вступать с ним в контрастно-игровые отношения. Она фиксирует резкий поворот в «сюжете», противопоставляет красоту окружающего мира быту, парадоксально резюмирует то, о чем говорится в хайку:

Майские льют дожди.  
Что это? Лопнул на бочке обод?  
Звук неясный ночной...  
В ОКНЕ ПОКАЗАЛСЯ ХОБОТ.

(с. 63)

Оскалив белые зубы,  
Обезьяна хрипло кричит...  
Луна встаёт над горою.  
КТО-ТО В ОКНО СТУЧИТ.  
(с. 72)

Зимняя ночь в саду.  
Ниткой тонкой – и месяц в небе,  
И цикады чуть слышный звон...  
В ДОМЕ ЛЮДИ ДВИГАЮТ МЕБЕЛЬ.  
(с. 73)

Загадочный хобот, незванный гость из «другого» мира, ночная перестановка мебели – всё это граничит с абсурдом. Появление хобота или громоздкой мебели в японском жилище конца XVII в. никакими поэтическими формулами не объяснить. Вместе с тем подобный художественный произвол вырастает из жанровой «почвы». Четвертый стих связан с хайку атмосферой неблагополучия (недобрые предчувствия, столкновение вечного и обыденного). Эту атмосферу строка Лукомникова превращает из «серьезной» в пародическую. Достаточно указать культурный источник, как вся картина меняется. Вербализация идентичности, отсутствующая в хайку, – примета не японской, а скорее русской ментальности:

О этот долгий путь!  
Сгущается сумрак осенний,  
И – ни души кругом,  
КРОМЕ ЯПОНСКИХ РАСТЕНИЙ.  
(с. 20)

Цветы сурепки вокруг.  
На западе гаснет солнце.  
Луна на востоке встаёт.  
СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЯПОНЦЫ.  
(с. 24)

Из нашего села  
Корову, что я продал,  
Уводят сквозь туман  
ВРАГИ ЯПОНСКОГО НАРОДА.  
(с. 79)

Итак, большинство четверостиший построено на столкновении японского и русского культурных кодов. Чаще всего это выражается в речевом несоответствии финальной строки классическому хайку в переводе

В.Марковой. В результате – полная комизма лексико-стилистическая какофония:

Грузный колокол.  
А на самом его краю  
Дремлет бабочка.  
БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ...  
(с. 7)

Вижу в лучах зари:  
Набок склонились фиалки...  
Это работа крота.  
ЧТО Ж ТЫ ТАК, ЁЛКИ-ПАЛКИ?  
(с. 47)

Вместе с хозяином дома  
Слушаю молча вечерний звон.  
Падают листья ивы.  
ДИН, ПОНИМАЕШЬ, ДОН...  
(с. 69)

Луна над горой.  
Туман у подножья.  
Дымятся поля.  
НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖЬЯ.  
(с. 76)

Аутентичность ситуации может нарушаться социокультурной аномалией. Возмущение в текст привносят подробности не средневековой японской жизни, а советского быта, достраиваемого контекстом:

Солёные морские окуни  
Висят, ощеривая зубы, –  
Как в этой рыбной лавке холодно!  
И ПРОДАВЩИЦ МАНЕРЫ ГРУБЫ.  
(с. 81)

Тоненький язычок огня, –  
Застыло масло в светильнике.  
Проснёшься... Какая грусть!  
И МЯСА НЕТ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.  
(с. 83)

Взаимодействие частей катрена актуализирует метатекстуальную функцию высказывания. Читателю предлагается задуматься над созданием хокку, избрав путь их «завершения-улучшения». Внешняя простота текста

дополняется рефлексией автора, обыгрывающего процесс сочинения стихов:

Как стонет от ветра банан,  
Как падают капли в кадку,  
Я слышу всю ночь напролёт,  
КРОПАЯ СТИШКИ В ТЕТРАДКУ.

(с. 3)

Герой Лукомникова – это наивный читатель хокку. Знакомство с японской поэзией рождает соблазнительную легкость творчества, иллюзию его доступности для каждого, кто хочет попробовать себя в роли поэта:

В стране моей родной  
Цветёт вишневым цветом  
И дикая трава!  
НЕ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ПОЭТОМ?

(с. 30)

Писать стихи совсем не трудно – нужно подобрать «недостающую» строку и зарифмовать ее, через стих, с другой. (Рифма играет роль сигнала, который отличает поэзию от непоэзии.) Усвоив этот принцип, можно поставить сочинение стихов на поток:

Все листья сорвали сборщицы...  
Откуда им знать, что для чайных кустов  
Они – словно ветер осени!  
ЕЩЁ ОДИН СТИХ ГОТОВ.

(с. 41)

Четвертый стих обнажает сцену письма. Лукомников «присваивает» чужое творчество, заставляя своего героя испытать радость от коммуникативной уловки: за кем последнее слово, тот и прав. Кто завершил текст – тот и поэт, даже если такое завершение демонстрирует полную художественную несостоятельность:

С запада ветер летит,  
Кружит, гонит к востоку  
Ворох опавшей листвы...  
НУ КАК, НОРМАЛЬНОЕ ХОККУ?

(с. 43)

Не удивительно, что наивный автор одержим идеей конца текста. Он должен маркировать финал, потому что только метатекстуальность, где предмет высказывания становится сам код, отвечает его поэтическим амбициям. «Финитное» мышление влечет за собой инерцию формы, которая довлеет над субъектом. Находясь во власти катренной схемы, он заполняет ритмическую лауну строкой, выступающей в роли автометаописания (Р.Д.Тименчик):

Ключья трав прошлогодних...  
Короткие, не длиннее вершка,  
Первые паутинки.  
ВОТ И КОНЕЦ СТИШКА.  
(с. 51)

Заключительное стихотворение провозглашает идею соавторства. Поэт ставит подпись, подтверждая тем самым свои художественные полномочия:

Среди густой травы  
Лишь посохи паломников  
Двигутся вдали...  
ДОПИСАЛ ЛУКОМНИКОВ.  
(с. 96)

Итак, собрание шедевров японской классической поэзии превращается в эстетически разыгранное коллективное творчество, в котором Г.Лукомникову принадлежит «одна четвертая» поэтической славы. Центонная техника здесь та же, что и в известном стихотворении Вс.Некрасова:

Я помню чудное мгновенье  
Невы державное течение  
Люблю тебя Петра творенье  
Кто написал стихотворение  
Я написал стихотворение [Некрасов 1989: 5].

Но, в отличие от Некрасова, герой которого присваивает текст, потому что ангажирован поэтической культурой (отсюда неразличение себя и Пушкина), Лукомников сосредоточен на другом. В нарочито простых стихах он демонстрирует пропасть между поэтом и непоэтом [см.: Нешумова 2009: 179], не расположенным к трехстишиям:

Когда б вы знали из какого  
Тогда б вы сами их писали  
Мы вам не скажем никогда [Лукомников 1998].

## ЛИТЕРАТУРА

Kawamoto 2000 – *Kawamoto K.* The Poetics of Japanese Verse: Imagery, Structure, Meter. Tokyo, 2000.

Shirane 1998 – *Shirane H.* Traces of Dreams: Landscape, Cultural Memory, and the Poetry of Basho. Stanford, 1998.

Sütiste 2001 – *Sütiste E.* Translating the seventeen syllables // Sign Systems Studies. Tartu, 2001. Vol. 29.2.

Абрамовских 2006 – *Абрамовских Е.В.* Особенности креативной рецепции японских хайку Г.Лукомниковым // Восток – Запад: пространство русской литературы и фольклора. Материалы Второй международной научной конференции, посвященной 80-летию проф. каф. лит. Д.Н.Медриша. Волгоград, 2006.

Азадовский, Дьяконова 1991 – *Азадовский К.М., Дьяконова Е.М.* Бальмонт и Япония. М., 1991.

Андреев 1999 – *Андреев А.* Русские хайку // Арион. 1999. № 2.

Басё 1985 – *Басё:* стихи / Пер. с яп. В.Марковой. М., 1985.

Белобров, Попов www – *Белобров В., Попов О. и древнеяпонские поэты.* Палка с резиновой нахлобучкой. [Электронный ресурс] – <http://www.belobrovporov.ru/palka/palka.htm>

Боронина 1975 – *Боронина И.А.* Хокку // Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8.

Бреславец 1981 – *Бреславец Т.И.* Поэзия Мацуо Басё. М., 1981.

Бреславец 1994 – *Бреславец Т.И.* Очерки японской поэзии IX–XVII веков. М., 1994.

В сторону рэнга 2004 – В сторону рэнга [Беседа с В.Мазуриком] // Хайкумена: Альманах поэзии хайку. Вып. 2. М., 2004.

Григорьева 1993 – *Григорьева Т.* Красотой Японии рожденный. М., 1993.

Давыдов 2004 – *Давыдов Д.М.* Русская наивная и примитивистская поэзия: генезис, эволюция, поэтика: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2004.

Давыдов 2008 – *Давыдов Д.М.* Примитивизма поэтика // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008.

Долин 1987 – *Долин А.А.* Японская поэзия на Западе: перевод – стилизация – адаптация // Взаимодействие культур Востока и Запада. Вып. 1. М., 1987.

Долин 2007 – *Долин А.* История новой японской поэзии в очерках и литературных портретах. В 4 т. Т. 4. Танка и хайку. СПб., 2007.

Дьяконова 1985 – *Дьяконова Е.М.* Природа, люди, вещи и способы их отражения в поэзии трехстиший // Человек и мир в японской культуре: Сборник статей. М., 1985.

Дьяконова 1995 – *Дьяконова Е.М.* О возможном и невозможном в японской поэзии // Эстетика бытия и эстетика текста в культурах средневекового Востока: Сборник статей. М., 1995.

Дьяконова 2007 – *Дьяконова Е.М.* Поэзия японского жанра трехстиший (хайку): происхождение и главные черты // Лирика: генезис и эволюция. М., 2007.

Иллюстрированная книга 2002 – Иллюстрированная книга. Синтез слова и изображения: Сборник статей и материалов. М., 2002.

Кин 1978 – *Кин Д.* Японская литература XVII–XIX столетий. М., 1978.

Конрад 1956 – *Конрад Н.* Предисловие // Японская поэзия: Сб. / Пер. с яп. М., 1956.

Конрад 1974 – *Конрад Н.И.* Японская литература. От «Кодзики» до Токутами. М., 1974.

Кудря 1999 – *Кудря Д.* Переводчик как культурный герой // Арион. 1999. № 2.

Лукомников 2001 – *Лукомников Г.* Японские поэты + Герман Лукомников. Бабочки полёт, или Хокку плюс / идея В.Белоброва и О.Попова; использ. пер. В.Марковой. М.; СПб.: Красный матрос, 2001.

Лукомников 1998 – *Лукомников Г.* Избранное. Часть третья (начало). Осень 1998. [Электронный ресурс] – <http://www.vavilon.ru/bgl/gluk3.html>

Маркова 1968 – *Маркова В.* О переводе японской лирики. История и проблематика (очерк первый) // Мастерство перевода: Сб. М., 1968.

Маркова 1985 – *Маркова В.* Предисловие // Басё: стихи / Пер. с яп. В.Марковой. М., 1985.

Некрасов 1989 – *Некрасов Вс.* Стихи из журнала. М., 1989.

Нешумова 2009 – *Нешумова Т.* Проблема чтения в текстах поэта Германа Лукомникова // Орус # 4–5. Нобелевская лекция. Чтение: Сборник статей. Vilniaus, 2009.

Орлицкий 2003 – *Орлицкий Ю.Б.* Японские хокку в переводах Веры Марковой. Опыт описания индивидуальной стихотворной поэтики // Трифон: Российский альманах поэзии хайку. Вып. 4. М.; Тверь, 2003.

Орлицкий 2004 – *Орлицкий Ю.Б.* К истории хайку в России: переводы В.Мендрина (1904) // Хайкумена: Альманах поэзии хайку. Вып. 2. М., 2004.

Позняков 1905 – *Позняков Н.И.* Японская поэзия. (Очерк). М., 1905.

Савилов 2007 – *Савилов Е.* Классическая японская поэзия: взгляд дилетанта. М., 2007.

Соколов 1990 – *Соколов Саша.* Школа для дураков. Между собакой и волком. М., 1990.

Сорокин 2007 – *Сорокин Ю.А.* Поэтический текст и его коммуникативная тактика (попытка прогноза) // Вестник РУДН. Сер. Литературоведение. Журналистика. 2007. № 3/4.

Тынянов 2002 – *Тынянов Ю.Н.* Литературная эволюция: Избр. труды. М., 2002.

Чупринин 2007 – *Чупринин С.* Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям. М., 2007.

Шамир 2000 – *Шамир И.* «Одиссея» после «Улисса» // Гомер. Одиссея в прозаическом переложении Лоуренса Аравийского. СПб., 2000.

Шляхов, Жуковская 2007 – *Шляхов А., Жуковская Е.* Хайгарт // Хайкумена: Альманах поэзии хайку. Вып. 3. М., 2007.

**«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» А.С.ПУШКИНА В КОНТЕКСТЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ И МИФОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЦАРСТВА**

В изучении *Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях* сложился фольклористический подход к тексту, а в связи с ним устойчивость его расположения в исследовательской рубрике «Сказки Пушкина». Установлен основной источник сюжета о наказанной зависти – «Белоснежка» братьев Гримм [Сиповский 1906: 82; Азадовский 1936: 148] в контаминации с русскими сказочными сюжетами «Мертвая царевна», «Волшебное зеркальце», а также и с украинским вариантом «Золотокосая Ялена» [Зуева 1989: 94-95]; исследуется близость к фольклорному повествованию и народной культуре [Медриш 1992: 66-74; Зуева 1989].

Наряду с этой ведущей исследовательской линией намечается осмысление текста, которое ставит его в литературно-биографический контекст. В.Непомнящий определяет *Сказку о мертвой царевне* как самый неканонический текст среди всех литературных сказок Пушкина с точки зрения жанра и определяет ее как сказку-поэму о верности [Непомнящий 1983: 164-167]. Т.Зуева интерпретирует *Сказку* как иносказание о поисках Дома в соотношении с биографическим контекстом. Существенно при этом уточнение об отличии мотива о соперничестве двух красавиц в *Сказке* от традиционного в русском фольклоре противопоставления «мачеха – падчерица», которое никогда не имеет в своем основании мотива физической красоты. Зуева считает, что назидательный смысл сказки о соперницах-красавицах адресован молодой жене Пушкина Наталии Николаевне [Зуева 1989: 90-91].

Суммируя известные нам подходы к *Сказке о мертвой царевне*, можно отметить отсутствие попыток ее отнесения к контексту болдинского творчества Пушкина 1833 года, например в серийном издании «Болдинских чтений» [Болдинские чтения]. *Сказка* оказалась обойденной вниманием в исследованиях диалогических междутекстовых связей, общности мотивов, символизирующей тенденции, интерпретации основных политических сюжетов в петербургский период русской истории. Можно считать, что сюжеты самозванчества и бунта, аморализма властолюбия и беспощадности обороны трона, противопоставления «потомственное дворянство – новая знать» обуславливают диалогические связи между произ-

ведениями Болдинской осени 1833 года. Они предстают как вариации идеологической и художественной формы «повести о петербургской истории», насыщенной символическими смыслами.

Замечание С.Фомичева о том, что сказка в творчестве Пушкина начала 1830-х годов – «не только традиционный народно-поэтический сюжет, но, в определенном смысле, своеобразный угол зрения на действительность» [Фомичев 1986: 190], получает доказательства в исследованиях Г.Макогоненко и М.Эпштейна, которые рассматривают сюжет второй сказки, написанной в Болдине осенью 1833 года, – *о рыбаке и рыбке* – в связи с петербургской историей.

Г.Макогоненко дополняет известное толкование о наказанной в соответствии с народной моралью алчности, как и интерпретацию Непомнящего о противопоставленности преходящего – вечному. Г.Макогоненко предлагает версию иносказательного рассказа о происхождении «новой аристократии» в XVIII веке и о возможности его афористического описания пословицей *из грязи в князи* [Макогоненко 1982: 131-142]. М.Эпштейн видит в «Медном всаднике» и в «Сказке о золотой рыбке» общее смысловое ядро, связанное с петровской темой в русской истории. Он рассматривает варьирование мотива «овладение морской стихией» в трагической и комической ипостазях властничества, а поговорку о «разбитом корыте» (*сидеть у разбитого корыта*) интерпретирует как пророчество и метафорическое описание конца петербургской истории России в 1917 г. [Эпштейн 1996: 204-215]

Интерпретации Макогоненко и Эпштейна связывают *Сказку о рыбаке и о золотой рыбке* с Болдинской практикой 1833 года и литературной символизацией явлений петербургской истории. Такой результат дает все основания считать, что в этот творческий период Пушкин активизирует потенциал фольклорных жанров – сказки, пословицы – для метафоризации истории через народную точку зрения на нее. Подобное представление утверждает синхронное освоение эстетики романтизма. Например, Новалис рассматривает волшебную сказку как наиболее продуктивную форму для откровения истории и понимает действие в ней как прообраз того, что происходит в настоящем или чему предстоит случиться [Новалис www]. О концепции Новалиса, основанной на представлении о символической и суггестивной энергии слова, Пушкин мог знать через Жуковского, увлеченного немецким романтизмом. Как показывает исследование И.Виницкого, Жуковский зашифровывает представления о современной политической реальности в сюжетах античной литературы и средневековых баллад [Виницкий 2006].

Сказанное провоцирует интерес к *Сказке о мертвой царевне* и к возможности отыскать логику, организующую рефлексии над петербургской историей в сказочном сюжете. Ответ может расширить толкование текста как стихотворную обработку популярного фольклорного – русского и европейского – сюжета о победе любви и верности над завистью. Это определяет задачу настоящей статьи – отнести *Сказку о мертвой царевне* к текстовому окружению болдинского творчества 1833 года, в котором она возникла, в том случае, если она окажется символизированным образом определенного явления петербургской истории.

Для проверки предлагается гипотеза о том, что *Сказка о мертвой царевне* – иносказание об устранении царского наследника – устойчивом сюжете в истории петербургского царства – и о сопутствующем переосмыслении образа власти матери утверждением идеи о «власти мачехи».

Поскольку идет речь о теме-табу, данную гипотезу можно проверить путем реконструкции (насколько это возможно) этого сюжета в поле неофициальной истории и народной культуры 1830-х гг., а также уточнением объема знаний Пушкина о ней.

Какими знаниями о табуированной неофициальной истории Дворца – Царского Дома мог располагать Пушкин к осени 1833 года? Предварительный просмотр сведений показывает, что они включают знание неофициальных исторических документов и знание слухов, молвы, устных рассказов, что может помочь предпринимаемому здесь их упорядочению.

С зимы 1832 года, как это известно, в качестве придворного историографа Пушкин работает с секретными материалами в Государственном архиве, изучая историю Петра I и Пугачева. В созданном Николаем I Секретном хранилище сосредоточены все документы, связанные с венценосной фамилией Романовых, с борьбой вокруг трона. По словам Иконникова (1891), это материалы, связанные с «особыми внутренними событиями и с самыми важными происшествиями в империи» [цит. по: Фейнберг 1955: 119]. Пушкин – первый литератор, который получает доступ к Секретному делу царского сына Алексея Петровича (1718), к Делах Тайной канцелярии Петра I. Какие записи он сделал – неизвестно, так как материалы, собранные им в Архиве, не сохранились [там же: 120]. В письмах и автобиографических записках, по объяснимым причинам, он не упоминает никаких фактов, кроме предельно лаконичных сообщений о работе «по Пугачеву» или «Петру I».

Вне сомнений, к этому времени Пушкин и русское общество заняты темой о насильственной смерти законного наследника короны по воле Владетеля. Прямым свидетельством этого интереса является запись в Дневнике 1833 г., сделанная сразу после приезда из Болдино в Санкт-

Петербург. 29 ноября в связи с постановкой французской труппы и интерпретацией темы смерти детей Эдуарда, погубленных его братом, Пушкин отмечает: *Вчера играли здесь «Les enfants d'Edouard», и с большим успехом. Трагедия, говорят, будет запрещена. Экран удивляется смелости применений. Блай их не заметил. Блай, кажется, прав* [Пушкин 1981: IX, 22].

В подготовительных материалах к *Истории Петра I* Пушкин отмечает версию об отравлении по воле Петра I первородного царского сына – царевича Алексея [там же: VIII, 281]. В *Анекдотах* (коротких исторических рассказах, по жанровому канону XVIII века), которые Пушкин собирает в 1833-1835 гг., показателен рассказ, который содержит знание о насильственной смерти Иоана VI Антоновича, убитого стражей в Шлиссельбургской крепости в 1764 г. при попытке капитана Мировича освободить царственного узника и устранить узурпировавшую трон Екатерину II. Известно также сочувственное отношение Пушкина к Петру III – жертве Екатерины в общем контексте оценки ее «жестокости», прикрытой «под личиною кротости и терпимости» [там же: VII, 174-175].

Возможно, Пушкин знал и о Секретном деле «Таракановой» от 1775 г., так же как и о беспокойствах в связи с ним Николая I в условиях нестабильности трона после декабря 1825 года. Николай I интересуется Делом и торопит сбор сведений в связи с отправляемыми ему обвинениями в самозванчестве. Они вполне могли быть основаны на рассказах об убийстве при Екатерине II последней русской законной наследницы трона – дочери Императрицы Елизаветы Петровны и внучки Петра I. Архивные разыскания Нины Молевой свидетельствуют о спешных докладах, которые император требует один за другим от графа Блудова после 1827 года [Молева 1984: 163-164]. В Царском селе в 1830 г. Пушкин общается с арзамасцем Блудовым, который находится в тесных дружеских отношениях с Жуковским. Особенно важно, что Блудов попечительствует и руководит работой Пушкина в Архиве [Анненков 1984: 325]. Следы сюжета «Таракановой» Пушкин мог бы видеть в случае знания корреспонденции между Екатериной II и графом Алексеем Орловым, кому Императрица поручает «схватить побродяжку» и доставить в Петербург особу, объявившую в Европе наследственные права на корону. Косвенным свидетельством этого интереса являются записки Пушкина об Алексее Орлове в *Разговорах Н.К. Загрязской (1833-1835): Орлов был в душе царевубийцей, это было у него как бы дурной привычкой* [Пушкин 1981: VII, 270].

Источником знания о погублении царской дочери при пособничестве графа Алексея Орлова и по воле Екатерины II может быть исключительно популярный петербургский городской рассказ об умертвлении в

Петропавловской крепости царственной княжны Таракановой – дочери императрицы Елизаветы Петровны [Синдаловский 1997: 126]. Можно предполагать активность его функционирования в связи с представлением о самозванчестве «царей – немцев русских на престоле» – Екатерины II и ее наследников, утверждаемом в декабристской поэзии и в листовках по Петербургу после 14 декабря о Самозванце Голштейн-Готторпском [Панченко 1979: 84].

Устойчивость сюжета об умертвлении наследницы короны в петербургской истории подтверждают слухи, распространенные в связи со смертью императрицы Елизаветы Алексеевны в мае 1826 года. Речь идет об устном рассказе об убийстве вдовы императора Александра I на обратном пути из Таганрога в Петербург. Рассказ распространен в дворцовой среде камерфрейлиной Елизаветы Алексеевны – княгиней В.М.Волконской [Молин 2006]. Пушкин мог знать этот дворцовый слух, например, от Жуковского, как знал о сожжении (по распоряжению Николая I и императрицы-матери Марии Федоровны) Дневников Императрицы, которые она вела с 1792 по 1826 г. Пушкин отражает этот факт в своем *Дневнике* в декабре 1833 года [Пушкин 1981: I, 24].

Во Дворце была распространена версия о погублении Елизаветы Алексеевны по воле императрицы-матери Марии Федоровны и о ее устранении с пути Николая I до его коронации в августе 1826 г. [Молин 2006]. Сюжет слухов находит основание в соперничестве между двумя императрицами (Марией Федоровной и Елизаветой Алексеевной) [Благово 1989: 112], в неприязненном отношении императрицы-матери к Елизавете Алексеевне и в том, что этот конфликт был известен во Дворце [Шебунин 1936: 71]. Размышления Пушкина по поводу этого конфликта находят отражение в четверостишии из «Медного всадника», санкционированном Николаем I:

*И перед младшею столицей  
Померкла старая Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиноносная вдова* [Пушкин 1981: III, 261].

О важности этого четверостишия для Пушкина свидетельствует повторение его записи в *Дневнике* 14 декабря 1833 года, после того как он получил обратно рукопись «Медного всадника» с замечаниями императора-цензора [Пушкин 1981: IX, 24]. Едва ли случайна и дата записи – 14 декабря, особенно в сопоставлении с датой 11 декабря, когда Пушкин отмечает, что получил рукопись. В общем контексте неофициальных расска-

зов о дворцовой политике эта запись приобретает смысл поминания обеих вдов в контексте декабристского мятежа после восшествия на престол Николая I.

Согласно комментарию Н.Измайлова, «Николай I нашел, по-видимому, неприличным напоминания о ... “семейных” делах царской фамилии и перечеркнул все четверостишие» [Измайлов 1978: 266-267]. А.Осват анализирует проекцию этих отношений в сравнении между двумя столицами – старой Москвой и новой – и считает, что Пушкин имеет в виду соперничество между двумя городами и двумя вдовами – порфиноносной Марией Федоровной и Елизаветой Алексеевной – как соревнование между двумя божественными особами [Осват 2007].

Для целей настоящей работы важна возможность реконструкции с большей определенностью периода 1826 г. до смерти Елизаветы Алексеевны в мае, а также его «насыщенность» идеей напряжения между обеими царицами.

Знание о неприязненном отношении Марии Федоровны и Николая I к Елизавете Алексеевне может оказаться активным особенно после показаний Пестеля от 13 января 1826 г. перед Следственной комиссией, работающей во главе с Николаем I. Показания подтверждают симпатии декабристов тайного «Елизаветинского общества» к Елизавете Алексеевне и особенно заговор Ф.Глинки против Александра I с целью передать власть молодой императрице [Шебунин 1936: 56].

Перечисленные обстоятельства и сведения, отнесенные к устной и неофициальной истории этого времени, являются предпосылкой текстуализовать слухи о смерти императрицы при помощи сказочной схемы о царице-мачехе и ее попытке убить ненавистную падчерицу – царскую дочь.

Дополнительным основанием для такой текстуализации слухов может быть поэтизация Елизаветы Алексеевны в кругу литераторов «Елизаветинского общества», в литературном быту дворян. В центре поэтического воображения женской идеальности, воплощенной в Императрице, – мотив непревзойденной, небесной красоты: «Краса земных царей» (Ф.Глинка, К бюсту венценосной благотворительницы; А.Пушкин, К Н.Я.Плюсковой – *Я, вдохновенный Аполлоном, / Елисавету втайне пел / Небесного земной свидетель*). Именно эта деталь литературного портрета Елизаветы Алексеевны могла бы поддержать занятый Пушкиным прециозный мотив о соперничестве между красавицами царицей-мачехой и падчерицей, нетипичный для русского фольклора.

Дворцовый экзотический слух идентичен страшному рассказу романтизма с таинственным полночным убийством. Молва во Дворце под-

держивается синхронной народной легендой о трех упавших звездах над дворцом венценосного семейства в Таганроге осенью 1825 года. Это явление было истолковано как знак, предвещающий смерть Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны и их нерожденного наследника [Викторова 1996]. В своих воспоминаниях А.И.Михайловский-Данилевский пишет: *Во втором часу по полуночи многие жители Таганрога видели над дворцом три звезды, которые расходились, потом соединились в две вместе, и наконец, одна из них упала, и за нею исчезла другая* [цит. по: Грачева 1998].

Приведенные материалы свидетельствуют об изоморфизме между сюжетами слухов/ неофициальных рассказов о Дворце в конце 1820-х годов и популярным европейским и русским сказочным сюжетом об умертвленной царской дочери по воле царствующей мачехи, который привлекает внимание Пушкина.

Если добавить и записку в Дневнике Жуковского 1834 г. [Иезуитова 1978: 231] по поводу разговоров с Пушкиным о царевубийстве по воле Екатерины II – с примером судьбы Петра III, – можно обобщить, что представленный здесь круг слухов реконструирует царевубийство как проблему, которая пронизывает идеологические представления Пушкина в 1830-те годы.

Становится очевидным еще и то, что *Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях* расположена в силовом поле угасающей в этот период сакрализации монарха [Живов, Успенский 1987: 134]. Представления об этом явлении можно расширить констатацией о дискредитации титулатурной формулы «мать Отечества» как элемента просветительских сценариев добродетельной власти Елизаветы Петровны и Екатерины II. Эта формула оказывается подчеркнуто активизированной после 1826 года в связи с Марией Федоровной, в рамках династического мифа Николаевского правления – об идеальной царской семье как олицетворении единой нации [Уортман 2004: 325-335]. Поговорка «Счастье – кому мать, а кому мачеха» может быть метафорическим описанием неофициальной истории Дворца в варианте «Власть – кому мать, а кому мачеха», а в «маленьких» рассказах о неофициальной истории можно искать реализацию метафоры.

Если после проведенной процедуры наблюдений над сведениями, связанными с такими каналами коммуникации, как слухи и неофициальные рассказы о Дворце, вернуть *Сказку о мертвой царевне* в окружение текстов, среди которых она создана, становится очевидным диалог сюжетной линии «царица-мачеха – устранение царевны» с представлениями о нестабильности царского престола и о беспощадной обороне власти в *Истории Пугачева* и в *Медном всаднике*, с идеей убивающей силы и амора-

лизмом властолюбия в *Пиковой даме*. Сказка о мертвой царевне окажется связанной и с поэмой *Анджело* с точки зрения практики творческого освоения широко распространенных слухов – об отшельничестве Александра I [Лотман 1995: 240-242].

Внимание Пушкина к сказке об устранении и умертвлении царевны предстает как часть болдинской рефлексии о прошлой и настоящей истории с интересом к устойчивому политическому сюжету в петербургском царстве – погублению законных наследников короны. Художественная форма сказки востребована с целью зашифровать рассказ на тему-табу. Осмысление исторического сюжета в рамках народной модели мира и власти обнаруживает метафоризацию представлений об отраве властолюбия (понимание зависти и соперничества как губящих сил).

В контекст угасающей сакрализации власти, представленной в образе «мачехи», Пушкин встраивает на правах контрапункта живую силу народной влюбленности в идеал *праведного царя и кроткой царицы*. Материалом для размышлений в этой связи являются текстовые отличия *Сказки о мертвой царевне* от сюжета *Белоснежки* братьев Гримм. Речь идет об отличиях в сюжетной линии о богатырях, королевиче Елисее и оживающей царевне, которые, как нам кажется, ориентированы на интуицию читателя пушкинской эпохи.

На наш взгляд, в переработке оригинального мотива о семерых карликах в гриммовской сказке Пушкин показывает всенародное обожание русского царя. Используется утвержденный в русском фольклоре образ-символ народной силы и величия – семь богатырей, влюбленных в царскую дочь. Представляется, что нарушение Пушкиным социальной иерархии, отраженной в сказочной модели парой «цари – карлики», воспроизводит сценарии русского Дворца в сентиментально-романтический период о привязанности между Царем и Царицей сердец, а именно между благословенным ангелом на троне Александром I и кроткой царицей Елизаветой Алексеевной – и их подданными [Уортман 2004: 258 и след.]. Возникает искушение вспомнить поэтическую влюбленность в императрицу молодого Пушкина и лицейстов [Видова 2006], поэтов «Елизаветинского общества», придворных поэтов. Общий тон поэтических признаний о влюбленности в неземное совершенство Елизаветы – царицы красоты (Карамзин, Жуковский, Пушкин, Ф.Глинка) оказывается поддержанным документами повседневной жизни и литературного быта первой четверти XIX века, свидетельствующими о восхищенности перед «неописанной красотой совершенно ангельского лица» [Благово 1989: 70]. Показательны текстовые записи стихотворных посвящений императрице Пушкина, Карамзина в литературных альбомах [Альбом Горчакова; Альбом Урусовой;

Альбом Шаликова], а также практика литературно-бытового сочинительства на эту тему [Альбом Шаликова: л. 2 об., л. 14]. Во всяком случае широко распространенные представления о «царице кроткой, красе земных царей» (Ф.Глинка), с «небесной, приветной красой» (Пушкин), как и детали, связанные с немецкой принцессой, растущей при дворе Марии Федоровны, соизмеримы с портретом сказочной красавицы:

*...царевна молодая,  
Тихомолком расцветая,  
Между тем росла, росла,  
Поднялась и расцвела,  
Белолица, черноброва,  
Нраву кроткого такого...* [Пушкин 1981: III, 327]

Не совпадает с оригиналом и образ жениха в сказке Пушкина – королевича Елисея. Молитва, предшествующая его странствию в поисках царской дочери, – «помолясь усердно богу» – показывает связь героя с христианской культурой и активизирует семантику имени Елисей: «Бог спасет» [Библейская энциклопедия 1891: 226]. Едва ли случайно соответствие между сюжетными ходами в сказке – странствие принца (королевича) Елисея в поисках невесты (*Отправляется в дорогу За красавицей-душой, За невестой молодой*), возвращение жизни царской дочери в пещере – и библейскими рассказами о пророке Елисее. Их объединяют мотивы ‘добросердечность, милосердие и миротворство’: Елисей известен по библейскому преданию чудом возвращения жизни в пещере (IV Царства, 8-37) и возвращением жизни после отравления (IV Царства, 38-41).

Имя Елисей не только расширяет традиционный сказочный образ «добротного царя» добавлением значения «праведность», но отсылает и к образу ангелоподобного Александра I, спасителя Европы, к массовому представлению о нем как о покорителе Елисейских полей в 1815 г. Идеализация сказочной царевны в тексте Пушкина (*девица-красавица, нраву кроткого, засветила богу свечку*) соотносима с образом императрицы Елизаветы Алексеевны, распространенным в литературном быту. Русская литература запомнила «царицу кроткую, красу земных царей», а согласно версиям слухов, она последовала за Александром I в поисках праведнического идеала. К 1833 году Пушкин мог знать дворцовую молву о привязанности между Александром I и Елизаветой Алексеевной в последние месяцы жизни. Пушкину могли быть известны и слухи о мнимой смерти и отшельничестве Александра I и Елизаветы. Этим слухам предшествовала еще одна тема-табу – о разыгранном в 1826 г. спектакле-инсценировке по-

гребения Александра [Барятинский 1990]. Во всяком случае, путешествие Пушкина по России могло бы дать ему возможность узнать о популярном среди народа неверии в смерть благословенного царя-ангела и кроткой царицы. Об активности этих представлений в рассматриваемый период свидетельствует легенда (около 1834 г.), согласно которой Елизавета Алексеевна – монахиня Вера Молчальница из Тихвинского монастыря. В 1834 г., в дни чествования памяти Александра I и воздвижения Александровской колонны в Санкт-Петербурге, распространяются многократно комментированные легенды: Александр I жив, он появился в Сибири и ведет жизнь отшельника, приняв имя Федора Кузьмича [Барятинский 1990; Мироненко 1990: 97].

Как эту, который конструирует представление об императрице, странствующей среди обыкновенного народа, а наряду с тем конкретизирует историческое время, можно читать текст о забавах братьев-богатырей:

*Выезжают погулять,  
.....  
Руку правую потешить,  
Сорочина в поле спешить,  
Иль башку с широких плеч  
У татарина отсечь,  
Или вытравить из леса  
Пятигорского черкеса...* [Пушкин 1981: III, 331]

Упомянутые реалии конструируют представления о присоединении Кавказа в конкретное историческое время царей Александра I и Николая I.

Приведенные наблюдения соотносятся с мнением М.Азадовского о литературно-идеологической ориентации сказочных текстов Пушкина, спровоцированной спором между «Московским телеграфом» и «Литературной газетой» о праве различных социальных групп говорить от имени нации. Ученый считает, что сказки Пушкина являются вмешательством в этот спор, а поэт отстаивает право аристократа быть голосом «третьего сословия» [Азадовский 1936: 135-136].

Мнение Азадовского можно дополнить, учитывая современные реконструкции активного строительства в 1830-е годы русской национальной идеологии и мифологии [напр.: Киселева 1997] в контексте сценария монархии о единой нации-семье [Уортман 2004]. Особенно важен учет роли, возлагаемой в этот период на Пушкина, – быть национальным поэтом [Киселева 2001: 171-185].

Заботы прекрасной царевны-хозяйки в доме богатырей и гармония в нем – метафора России и дворцовой идеологии, построенной на семейственном идеализирующем мифе:

*...хозяйюшкой она  
В терему меж тем одна  
Приберет и приготовит,  
Им она не прекословит,  
Не перечат ей они...*

Публикация *Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях* в Библиотеке для чтения в 1834 г. ориентирована на широкую читательскую аудиторию. Сказку о любви и верности в царском доме можно воспринять как участие в идеологическом строительстве образа идеальной власти посредством обращения к народному идеалу любимых владельцев.

Приведенные наблюдения над *Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях* обнаруживают смысл сказочной модели как вариации идеологической и художественной формы «петербургской повести», основанной на народной точке зрения. Сказочное иносказание предстает как диалог двух смысловых потоков, связанных с тайной политической историей власти-мачехи и с официальной идеологией дворца о побеждающей любви и верности в царском доме. Такие выводы дают основание считать, что *Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях* является неотъемлемой частью болдинской рефлексии 1833 года над неоднозначностью петербургской политической истории.

## ЛИТЕРАТУРА

Азадовский 1936 – *Азадовский М.К.* Источники сказок Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936.

Альбом Горчакова – Альбом А.М.Горчакова // РО ИРЛИ, фонд 244, опись 1, № 422, л. 1.

Альбом Урусовой – Альбом С.А.Урусовой // РО ИРЛИ, фонд 244, опись 8, № 106.

Альбом Шаликова – Альбом П.И.Шаликова // РО ИРЛИ, Отдельные поступления, № 4786/XXIV б. 183.

Анненков 1984 – *Анненков П.В.* Материалы для биографии А.С.Пушкина. М.: Современник, 1984.

Барятинский 1990 – *Барятинский В.В.* Царственный мистик (Император Александр I – Федор Кузьмич). Репринтное воспроизведение издания 1912 г. Л., 1990.

Библейская энциклопедия 1891 – Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. М., 1891. [Репринтное издание Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 1990.]

Благово 1989 – *Благово Д.* Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком. Серия «Литературные памятники». Л.: Наука, 1989.

Болдинские чтения – Болдинские чтения. Горький/Нижний Новгород: Волго-Вятское книжное изд., вып. 1976-2009.

Видова 2006 – *Видова О.* Души неясный идеал... // Наше Наследие, № 79-80, 2006. [Электронная публикация] – [www.nasledierus.ru/podshivka/7931.php](http://www.nasledierus.ru/podshivka/7931.php)

Викторова 1996 – *Викторова К.* Дело о «Гавриилиаде» // Наука и религия. 1996. № 2.

Виницкий 2006 – *Виницкий И.* Дом Толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение Жуковского. М.: НЛЮ, 2006.

Грачева 1998 – *Грачева И.* «Нельзя молиться за царя Ирода...» Об исторической драме А.С.Пушкина «Борис Годунов» // Наука и жизнь. 1998. № 12. [Электронная публикация] – <http://nauka.relis.ru/00/9800/0081200.shtml>

Живов, Успенский 1987 – *Живов В.М., Успенский Б.А.* Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблема переводимости. М., 1987.

Зуева 1989 – *Зуева Т.В.* Сказки А.С.Пушкина. М.: Просвещение, 1989.

Иезуитова 1978 – *Иезуитова Р.В.* Пушкин и «Дневник» В.А.Жуковского // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л.: Наука, 1978.

Измайлов 1978 – *Измайлов Н.В.* «Медный всадник» А.С.Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения // А.С.Пушкин. «Медный всадник». Серия «Литературные памятники». Л.: Наука, 1978.

Киселева 1997 – *Киселева Л.Н.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. 2. М., 1997.

Киселева 2001 – *Киселева Л.Н.* Пушкин и Жуковский в 1830-е годы (точки идеологического сопряжения) // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999 год. Материалы и исследования / Под ред. Д.Бетеа, А.А.Освата, Н.Г.Охотина и др. М., 2001.

Лотман 1995 – *Лотман Ю.М.* Идейная структура поэмы «Анджело» // Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995.

Макогоненко 1982 – *Макогоненко Г.П.* Творчество А.С.Пушкина в 1830-е годы (1833 – 1836). Л.: Художественная литература, 1982.

Медриш 1992 – *Медриш Д.* Путешествие в Лукоморье: Сказки Пушкина и народная культура. Волгоград: Перемена, 1992.

Мироненко 1990 – *Мироненко С.В.* Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. М.: Мысль, 1990.

Молева 1984 – *Молева Н.* Архивное дело №... Рассказы. М.: Советский писатель, 1984.

Молин 2006 – *Молин Ю.А.* Анализ версий смерти императрицы Елизаветы Алексеевны // Сборник трудов четвертой конференции АРСИИ им. Г.Р.Державина. СПб., 2006.

Непомнящий 1983 – *Непомнящий В.* Поэзия и судьба. М.: Советский писатель, 1983.

Новалис www – Новалис. Фрагменты. [Электронная публикация] – <http://philologos.narod.ru/tets/novalis.htm>

Осват 2007 – *Осват А.* Из пушкинского комментария / Реферат доклада // Теперик Т.Ф., Д.В.Сичинава, В.А.Мильчина. Гаспаровские чтения. РГГУ, Москва, 12-14 апреля 2007 // Новое литературное обозрение. 2007. № 86.

Панченко 1979 – *Панченко А.М.* «Народная модель» истории в набросках Толстого о Петровской эпохе // Л.Н.Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л.: Наука, 1979.

Пушкин 1981 – *Пушкин А.С.* Собрание сочинений в 10-ти томах. М.: Правда, 1981.

Синдаловский 1997 – *Синдаловский Н.А.* История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах. СПб.: Норинт, 1997.

Сиповский 1906 – *Сиповский В.В.* «Руслан и Людмила» (к литературной истории поэмы) // Пушкин и его современники. Вып. IV. СПб., 1906.

Уортман 2004 – *Уортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. I. От Петра Великого до Николая I. М.: ОГИ, 2004.

Фейнберг 1955 – *Фейнберг И.* Незавершенные работы Пушкина. М.: Советский писатель, 1955.

Фомичев 1986 – *Фомичев С.А.* Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л.: Наука, 1986.

Шебунин 1936 – *Шебунин А.Н.* Пушкин и «Общество Елизаветы» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936.

Эпштейн 1996 – *Эпштейн М.* Медный всадник и золотая рыбка: Поэма-сказка Пушкина // Знамя. 1996. № 6.

## В помощ преподавателю

Таня Атанасова (Болгария)

---

---

### ЧОВЕКЪТ У ТОЛСТОЙ МЕЖДУ ВОЙНАТА И МИРА

*100 години от кончината на Лев Толстой*

*В помощ на четящия*

Още в началото на творческия си път, в повестите от трилогията «Детство. Юношество. Младост», както и в т.н. «военни» «Севастополски разкази», Лев Толстой проблематизира екзистенциалната ситуация на срещата на човека със смъртта. По-късно, в разказа «Три смърти» той сякаш представя своеобразна йерархия на достойното умиране – от егоистичната и жалка стара господарка с нейния страх от смъртта, през пълната със спокойствие смърт на мужика – до естествената и «прекрасна» смърт на дървото. А след «духовния прелом», в най-важния си според собствена оценка трактат «За живота» («*О жизни*», от 1886-1887 г.) той формулира тезата: «**Страхът от смъртта е само съзнанието от неразрешено противоречие на живота**» [Человек 1995: 468], но за **човека, намерил смисъла на живота в служене на нравствената истина, смърт не съществува.**

Писателят стига до тази теза и чрез многообразното художествено изследване на човека между войната и мира в епопеята «Война и мир». Тук коментираме варианти на проблематизирането на «течащото вещество» на човека между живота и смъртта/ мира и войната, реализирани в съдбите на емблематичните герои на великия писател от главната «Книга» на руската литература. (Като «течащо вещество» превеждаме руското понятие «*текучесть*», видяно от редица изследователи като характерна особеност в изображението на Толстоевия герой (вж. например у Б.Ейхенбаум, цит. от Л.Димитров [Димитров 2002: 312]). Ярък израз на това виждане на човешкия път е афоризмът на писателя от «Възкресение»: «*Хората са като реките*», вариация на антична крилата фраза.)

#### **I. Толстоевият главен герой – между войната и мира (Андрей Болконски)**

Княз Андрей Болконски, син на прочут велможа (от епохата на Екатерина Велика), е белязан изначално с една родова черта – «*гордостта на*

*мисълта*», както забелязва и неговата смирена сестра княжна Маря. Тази гордост не му дава спокойно да наблюдава «панаира на суетата» в светското му обкръжение, както и в личния му живот. Болконски признава пред младия Пиер Безухов, че *«този живот не е за мен»* (т. I, ч. I, гл. 5)<sup>1</sup>, като скрива от него тайната си мечта, с която тръгва като адютант на генерал Кутузов в кампанията срещу Наполеон от 1805 година.

Уморен от светското празнословие, княз Андрей търси истинско дело, на което да се посвети, но дълбоко в себе си мечтае за *«своя Тулон»*, за лична слава с мащабите на Наполеоновата (вж. т. I, ч. III, гл. 12).

Тази ситуация ни подсказва, че в епопеята Толстой обобщава изследването на «наполеонизма», започнато още от Пушкин (Онегин, Герман от «Дама пика»), продължено и от великия му съвременник Достоевски в Разколников от «Престъпление и наказание». **«Наполеонизмът»** в руската литература от XIX век става синоним на **разединението, войната и смъртта**, и е резултат не толкова от стеклите се социално-исторически обстоятелства, колкото от индивидуалния духовен избор на откъсналия се от народното – семейното – начало дворянски интеллигент. Затова **изживяването на наполеонизма в себе си чрез драматична вътрешна борба извежда героя на Толстой към единението с народа, към семейния, колективния («роевия» в лексикона на Толстой) начин на живот, а значи към преодоляването на смъртта**. Такъв дълбоко драматичен индивидуален път извървяват «любимите герои» на писателя в епопеята.

Княз Андрей участва в две сражения. В Шьонграбенското той става свидетел, а по-късно и защитник на действията на обикновените руски воители, изпълняващи достойно своя дълг. Аустерлицкото сражение става поле за изява на неговата тайна амбиция – той извършва подвиг, като замества падналия знаменосец и повежда войниците в атака, при което е тежко ранен. И в този момент от повествованието Толстой описва първата «най-хубава минута» от живота на своя герой, която се превръща в началото на прелома в по-нататъшната му съдба. Духовната промяна на Болконски е видяна през **символичния образ на «високото безкрайно небе»**, което той сякаш за пръв път вижда, лежейки на бойното поле. На фона на това небе Наполеон изглежда дребен и фалшив, славата му – лъжовна и временна. В своето прозрение княз Андрей отхвърля измамния път на наполеоновската слава и вътрешно се устремява към тайните на «небето»: *«Да! Всичко е нищоожно, всичко е измамно освен това безкрайно небе»* (т. I, ч. III, гл. 16).

---

<sup>1</sup> Цитираме по този начин текста, за да може да се ползва всяко издание на «Война и мир».

Но преди това героят преминава през изпитания – плена, болницата, а непосредствено при завръщането си в родното имение – и смъртта на съпругата си по време на раждането на сина им. «*Мъртвото укоряващо го лице на жена му*» парадоксално става част от символичния ред на «*най-хубавите минути*» от живота на Андрей Болконски, за които той си спомня на смъртния праг (вж. т. IV, ч. I, гл. 16). Измъчван от угризения за смъртта на княгиня Лиза, героят осъзнава страшната цена на идолопоклонството, спомняйки си своя ужасен обет преди битката: «*Смърт, рани, загуба на семейство, нищо не е страшно за мен. <...> Всичко бих дал за една минута слава, за тържествуване над хората*» (т. I, ч. III, гл. 12).

Оттук нататък княз Андрей по-често се вслушва в гласа на «живата си съвест», която встъпва в противоречие с гордия му неординарен ум. «Живата съвест на Андрей Болконски е факт не само психологически и индивидуален. Според Толстой гласът на живата съвест е силен и благотворен исторически фактор. По-силен и по-благотворен отколкото честолюбие, отколкото другите общопризнати двигатели на историческия живот. В съответствие с дълбокото убеждение на Толстой, от повелите на човешката съвест животът се променя по-бързо и в по-необходимата посока, отколкото с помощта на тъй наречените исторически деяния на великите на този свят» [Маймин 1980: 98].

Външно затворил се в себе си, княз Андрей разбира, че във вътрешния му живот е започнал нов период, особено след срещата с Пиер Безухов, който посещава своя мрачен учител приятел в момент на свой вътрешен подем. Техният втори по важност в сюжета на епопеята разговор, състоял се върху сала на реката, разговор за предназначението на човешкия живот, за взаимовръзката на човека и света космос, обръща отново Андрей към хоризонтите на вътрешното безкрайно и тайнствено «небе» и го подготвя за новото му връщане в света на другите (вж. т. II, ч. II, гл. 12-14).

Метафора на възможността за възраждането му към нов живот стават «двете срещи с дъба» по пътя към имението на граф Ростов, Отрадное, първата – със старото дърво, отказващо да се подчини на вездесъщата пролет, и втората – радостното любуване на «възродилия се» мощен дъб. Този метафоричен епизод е синонимно свързан със запознанството на княз Андрей с младата Наташа Ростова. Отказът от честолюбиви лични планове, желанието да заживее «*заради обичта на другите*» е почвата, която подхранва и зрялата му любов към Наташа, събудила в душата му надежда за щастие (вж. т. II, ч. III, гл. 1-3).

И точно тук героят е застигнат от ново изпитание – в лицето на Анатоли Курагин, опитал се да съблазни младата му годеница Наташа в негово

отсъствие, княз Андрей отново се сблъсква с ирационалните сили на зло, на нравствено-психологическия наполеонизъм, тоест със силите на разединението, а значи – със смъртта и враждата. Болконски е изправен пред дилемата – «да прости» на разкаялата се Наташа, както с цялото си «*златно сърце*» му подсказва Пиер Безухов, или да се откаже от надеждата за любов и семейно щастие. Но наранената гордост пречи на героя да вземе верното според Толстой/ Пиер решение.

Отечествената война срещу Наполеоновото нашествие от 1812 година първоначално става външен изход от вътрешната криза на княз Андрей, той заминава на фронта разочарован и подтиснат от личното си нещастие. Болконски се отказва от престижната щабна служба, става командир на войнска част, сближава се със своите войници. Тази нова близост му дава възможност да постигне **властната и решаваща сила на «духа на масата/ войската», определящ не фактическия, а нравствения резултат на всяко обществено/ военно събитие, една любима историософска мисъл на Толстой.**

В навечерието на Бородинското сражение между княз Андрей и Пиер Безухов се провежда третият по важност разговор, в който капитан Болконски предрича моралната победа на руската армия в предстоящата битка. Тази увереност е постигната вече не само по рационален път, а от онова **тайнствено усещане на «семейно» единение с войниците**, което изпитва сега Болконски, четящ не само с ума си и най-малките жестове на окръжаващите го (вж. т. III, ч. II, гл. 24-25). Подобно е поразителното усещане на цивилния Пиер Безухов не просто като наблюдател, а като съучастващ в Бородинското сражение с цялото си същество в разгарящата се «*скрита топлина на патриотизма*» у всички, на «**семейното» обединяване** между сражаващите се от батареята на генерал Раевски (вж. т. III, ч. II, гл. 30-32). «**Семейното» единение е тайнствената сила, възправяща се като невидим щит срещу смъртта.**

След тежкото раняване на Бородинското поле героят на Толстой преживява своите най-важни озарения и открития. Още по време на престоя си в полевата болница (превързочния пункт) княз Андрей почувства друго отношение към предишния си враг – Анатоли Курагин, оказал се събрат по нещастие. Сега за него той е страдащият ближен, комуто той състрадава. По новому разбира той и Наташа, спомняйки си отделни моменти от техните разговори (вж. т. III, ч. II, гл. 37).

Двамата централни герои, Андрей и Наташа, закономерно се срещат, за да се убедим колко са ги променили физическите и душевни страдания. С ново, чисто, «небесно» чувство обича сега простената Наташа умиращият княз Андрей. Той прозира в предсмъртния си сън, отваряйки метафи-

зичната «врата» към отвъдното, че: «Бог е любов. Трябва да се обичат всички и всичко» (т. IV, ч. I, гл. 16).

Така героят на Толстой с предсмъртните си озарения **преодолява своето вътрешно разединение, своята вътрешна война, а значи и смъртта, и намира най-после мир и покой.**

Подобен изход – смъртта като пробуждане от «съня на живота», независимо от различните във всякакъв смисъл герои, се реализира от Толстой и в повестта «Смъртта на Иван Илич».

## **II. Толстоевата главна героиня – между войната и мира (Наташа Ростова)**

Друг е пътят на радости и страдания, падения и възходи на една от най-ярките героини на руската литература, архетипно свързана с «милиа и верен идеал» на Пушкин – Татьяна Ларина. Не случайно сюжетната ѝ съдба е проследена от отроческа, полудетска възраст до зрелостта ѝ, превръщането ѝ в съпруга и майка, най-достойната женска реализация според Толстой.

Наташа расте в патриархалната домашна атмосфера на душевна щедрост, гостоприемство и доброжелателност, главни черти на московското дворянско семейство на граф Ростов. Принадлежността на Ростови към света на Москва не е случайна, тя е свързана с **противопоставянето на два топоса – Москва и Петербург**, което е поредната експликация на **глобалния конфликт между «мира» и «войната», реализиран на всички нива на повествованието и образността в епопеята.** Това ни подсказват още първите глави на книгата с контрастното редуване на сцени от «петербургския» начин на живот (изкуствената, фалшива атмосфера в салона на Анна Шерер) и «московския» (радостното и емоционално общо празнуване на именния ден на двете Наталии, майката и дъщерята).

На прикритата студенина и враждебност в света на Курагини (метафорично – свят на война и смърт) е противопоставен пълният със съчувствие и разбиране свят на Ростови (метафорично – свят на мир и живот), чиято еманация е Наташа.

Героинята на Толстой излъчва и заразява околните с непосредствената си радост от живота, със своята откритост и искреност. Наташа е способна да се отдава докрай на поривите си на любов, състрадание, които са главните несъзнателни стимули в живота ѝ. Както казва Пиер Безухов, тя «не удостоява да е умна» (т. III, ч. V, гл. 4), защото според Толстой умеет да живее с «ума на сърцето си», достойнство на естествения, органичния

човек у писателя. Поразително верни са нейните интуитивни, по детски странни характеристики за Борис Друбецкой, Пиер Безухов и други.

Дълбоката притегателна сила на умението на Наташа възторжено да живее не веднъж вдъхва кураж на околните. Така става с Андрей Болконски, който се обръща към «общия живот» под въздействие на любовта към девойката. Но тази органична способност на героинята е подложена на изпитание в годината на съзряване, когато тя е необявената годеница на заминалия в чужбина княз Андрей. Толстой, авторът на «Детство. Отрочество. Юношество», и тук проблематизира в съдбата на Наташа **конфликта между «вътрешния» и «външния» човек**, особено остър през младостта, който се проявява най-вече в сферата на любовта. Оказала се сама, без нравствена подкрепа, жадуваща женско щастие веднага, Наташа се оказва жертва в опитните мрежи за прелъстяване на Елен и Анатоли Курагини, които разпалват нейните чувствени инстинкти.

Толстой има на пръв поглед парадоксално изказване, че «възелът на книгата» «Война и мир» е увлечението на Наташа по Анатоли! Можем да интерпретираме тази мисъл като подсказване, че **«войната»/ «наполеонизмът»** (да си спомним, че според епопеята присъствието на Наполеон «*хвърля хората в безумието на самозабравата*») е възможно нравствено-емоционално състояние на **самозабрава, изкушение с егоизъм и своеволие**, което човек сам трябва да преодолее, опирайки се на «ума на сърцето си».

От своята страшна заблуда Наташа излиза след криза на отчаяние, след сурово самоосъждане, с възроден дух и способност за съпричастие на окръжаващия свят. И тогава тя става способна да отвори вътрешния си слух и да «чуе», да усети общия дух, онзи **скрит общ дух на нравствено единство, който направлява според Толстой събитията и в мир, и във война**. В този момент, в решаващата 1812 година, Наташа проявява естествената за нея съпричастност към болката на другия, сега – към всенародната беда. Още по време на литургията в църквата, след призива на свещеника: «*Миром Господу помолимся!*», тя си мисли: «[«*Миром*»] **Общо, всички заедно, без разлика на съсловия, без вражда, а съединени с братска обич – ще се молим**» (т. II, ч. V, гл. 22). В този размисъл на героинята писателят разкрива част от най-важните значения на **концептуалното понятие «мир»** в руския език и култура, което по собствените му признания (а и по «най-високото място», което заема в книгата – заглавието) е неговата «любима мисъл» в епопеята. И Наташа привежда в действие това дълбоко вътрешно усещане на братска любов, когато от името на семейство Ростови взема решение да даде всички натоварени с тяхното имущество каруци за извозване на ранените от горящата Москва, като с

това решава съдбата им – спасява ги (а семейството ѝ окончателно се разорява) (вж. т. III, ч. III, гл. 16).

Умението на героинята да спасява и връща към живот, като посвещава всичките си душевни сили на нуждаещия се, неведнъж показано в сюжета, е нейното средство да се сражава срещу смъртта, враждата, разединението в името на любовта, живота и мира.

### III. Толстоевият «човек от народа» – между войната и мира (Платон Каратаев)

Ако Наташа Ростова е Толстоевото възплъщение на «рускинята по душа», то Платон Каратаев е символическият персонаж на епопеята. Той възплъщава онзи идеален «човек от народа» (по определението на Михаил Бахтин за специфичния важен персонаж у Толстой), в когото най-пълно се отразява любимата идея на автора – способността да се живее заедно с всички, със света – народа, вселената (на руски език съдържащо се във формулата «жизнь миром»).

На пръв поглед (при пръв прочит) Платон Каратаев може да не се запомни сред десетките «второстепенни» персонажи на «Война и мир». Но по решаващата роля в съдбата на Пиер Безухов читателят може да се досети за особената му роля в грандиозния сюжет. Пиер среща обикновения войник пехотинец в драматично за себе си време – в плен у французите, когато в него «е рухнало мирозданието» при вида на безсмислените мъчения и нелепи смърти, и той отново търси отговори на проклетите въпроси на битието.

Още при първата среща с Каратаев Пиер е поразен от усещането за топлина, уют и спокойствие, излъчващи се от този добродушен и ласкав човек. Той възприема този мужик-войник като нещо **кръгло**, топло, миришещо на хляб, важни характеристики, работещи за символичното ниво на персонажа. «Привързаности, дружба, любов, както ги разбираше Пиер, Каратаев нямаше никакви; но той обичаше и живееше в обич с всички, с което го срещаше животът... Той обичаше кучето си, обичаше другарите си, французите, обичаше Пиер...» (т. IV, ч. I, гл. 13). Тази особена любов – не за качества, заслуги, не за близост някаква, а любов просто към всяка Божя твар, към Божия свят, е християнската любов. «Такова отношение към света, тази всеобемаща любов е главната загадка за Толстой». «Щастieto и свободата за Каратаев е в отказването от каквато и да е собственост: на него нищо не може да му се даде и от него нищо не може да се отнеме. Неговото единствено достойние е самата му любов към света [на

руски «мир»], която е същността на душата му» [Монахова, Малхазова 1994: 42].

От това ново усещане за вътрешна свобода независимо от външните обстоятелства (в случая – плен, мизерия, нещастия и смърт) е дълбоко развълнуван Пиер, който несъзнателно попива в себе си винаги радостното приемане на хора и събития от Платон Каратаев.

Такава е народната житейска философия, което намира още едно потвърждение в любимата история – притчата, която обича да разказва войникът. Историята е за невинно осъдения търговец, който се смирява със съдбата си, защото повярва, че трябва да страда *«за своите, пък и за чуждите грехове»*, убеждава се, че *«всичко е по Божия воля»* (т. IV, ч. III, гл. 12-13). Чувствайки се част от света – на селската община, на руската войска, на целия Божи свят, – Платон Каратаев, «Голстоевият “божи човек”», не иска от живота нищо, щастлив от всичко съществуващо» [Монахова, Малхазова 1994: 43]. Затова и смъртта му (изтощен физически, той изостава от пленническата колона и френският конвой го застрелва) не се възприема трагично от Пиер (т. IV, ч. III, гл. 14).

По-късно в съня на Пиер Безухов за водното кълбо се изяснява символичната «кръглост» на Платон Каратаев: човекът е като водна капка, част от безкраен и безсмъртен световен океан – **«въртящо се кълбо от водни капки»** (вж. т. IV, ч. III, гл. 15). «Животът му има смисъл и предназначение само като част и едновременно като отражение на това цяло» [ЭЛГ 1997: 321].

Общуването на Пиер по време на пленничеството с Платон Каратаев оставя най-дълбока дияра в неговия живот. **Благословеното «роево» светоусещане на «човека от народа» става най-мощно средство срещу страха от смъртта, срещу разпада и на личността, и на обществото.** Отгук нататък простият руски мужик войник ще остане в съзнанието му като единственият нравствен коректив, с който той ще съизмерва своите лични и обществени постъпки. Не случайно проницателната Наташа ще му каже при първата им среща след Отечествената война, след неговия плен, след «школата» на Платон Каратаев, че той сякаш е излязъл *«морално от баня»* (т. IV, ч. IV, гл. 15).

Самото име на героя подсказва неговия философско-символичен смисъл. Фамилията «Каратаев» (*«kara»* с тюркски произход – «черен», руското *«тает»* – «топи се») подсказва, че в метафизичния контекст на епопеята неговата функция е да очисти от чернотата, т.е. от греха, а значи да трансформира **войната в мир, хаоса в космос, смъртта в живот** [вж. Нейчев 2001: 59].

Наистина, благодарение на Платон Каратаев героят правдотърсач на Толстой, Пиер Безухов, *«се научи да вижда великото, вечното и безкочнечното във всичко и радостно съзерцаваше край себе си вечно променящия се, вечно великия, непостижимия и безкрайния живот»* (т. IV, ч. IV, гл. 12).

#### IV. «Мисълта народна» на Толстой във «Война и мир»

Но за да стигне главният герой на Толстой – Пиер Безухов – до такова светоусещане, той трябва да измине дълъг път на страдания и в мир, и във война, като се отдалечи от тесните понятия на своя свят и се опита да се слее със света на войниците, мъжиците, на народа.

Известно е твърдението на Толстой по отношение на «Война и мир»: «Аз се стараех да пиша **историята на народа**». Но всеки исторически факт писателят се опитва да обясни «човешки», сливайки в потока на живота «историческото» и «частното», без да дели лица и събития по национален или съсловен признак. На този епически обхват на живота съответства заглавието на книгата, което «издава» антиномичната архитектуроника на цялата творба.

Забелязано е от изследователите, че заглавието на епопеята има дълбоки и всеобхватни значения, в които се съединяват философско-екзистенциално, социално-историческо, духовно и културно начала. Изконно антиномично, то е «епически величествено и летописно просто заглавие, отговарящо във висша степен на “духа на епоса”. То фиксира не само две различни състояния на социума (“**война**” = “вражда” = “бран” = “не-братство” и “**мир**” = “не-война”), но и две **коренно противоположни състояния на битието**. В религиозно-метафизичния контекст на творбата “война” е равностойна по значение на “**хаос**” в неговите земни и космически измерения и замества понятийно асоциативната верига “грях – неблагоприятно образие – смърт”» [Нейчев 2001: 57].

Затова «война» съществува в епопеята на Толстой не само на бойните полета. В светския Петербург често се описват различни егоистични «сражения»: княз Василий Курагин «воюва» за наследството на умиращия граф Безухов, но печели сражението за портфейла със завещанието Анна Друбецкая. Но княз Василий не се предава – той продължава войната за наследството, тоест – за Пиер Безухов, с други средства – оженва Пиер за «*мраморната*» красавица Елен, своята дъщеря. Във фалшивото семейство няма обич – Елен непрекъснато предава съпруга си. Стига се и до дуел, на който Пиер едва не убива Долохов. Наташа Ростова едва не загива, попадайки в света на Курагини.

Не е чудно, че много по-късно, след своя плен и болест, чувствайки се обновен и свободен, авторовият любим герой протагонист Пиер обединява двете събития, историческото и частното, – няма повече чуждо нашествие и няма я вече развратната жена. В идеологията на творбата Толстой приравнява ролята на Наполеон и ролята на Курагини. Защото и там, и тук *«не се знаеше, кое е добро, кое е зло, що е разумно и що неразумно»*.

Втората дума от заглавието – «мир» – е всеобемна и всеобхватна в руския език и култура, затова и труднопреводима в своята пълнота от значения на друг език (даже на друг славянски език). Както стана дума, тя означава «отсъствие на война и вражда», а значи и «спокойствие», и «съгласие». Освен това важно значение на «мир» е «свят» – отделен, частен, вътрешен и външен свят, но и «целият свят» – «космос», тоест благоустроен, подреден свят (руската дума «мироздание» е симптоматична за този смисъл). В национално-исторически аспект «мир» е свързан с руската «селска община» («*крестьянский мир*», което по-точно означава «свят на кръстените», т.е. «християнски свят») [вж. Бочаров 1985].

Всички тези смисли на идеологемата/ концепт «мир» многократно са разиграни в повествованието. «Мир»/ свят – това е «водовъртежът на живота», «бъркотията» от битови интереси, които за разлика от военния свят толкова объркват Николай Ростов и му пречат да бъде «прекрасен човек» в този «глупашки свят».

«Мир» – това е селското събрание [*«крестьянский мир»*, «*мирская сходка*»] в Богучарово, което е готово да призове на бунт своите членове. Това е духовно чистият свят на княжна Маря Болконска, световите на капитан Тушин и на войника Платон Каратаев. «Мир» – това е цялата Вселена, за която говори Пиер, доказвайки на княз Андрей съществуването в нея на «царството на правдата». Това е и братското обединение между хората в християнско голямо семейство, както чувства Наташа Ростова на литургията [вж. ЭЛП 1998: 84-85].

«Война» и «Мир» е и антиномията, и сблъсъкът между два свята, две цивилизации – Запада и Изтока, притежаващи според Толстой различна мяра за добро и зло. Ето как е казано в повествованието: *«Еднородността на влеченията на множеството хора, дошли от запад на изток, се определяше от представи за справедливост, милосърдие и общо благо, които утвърждаваха “неизмеримост” на величието с мярата за добро и зло. В представите за общо благо и пътищата за неговото постигане у онова човешко обединение, което застана в защита на Русия, липсваше самата идея за подобна “неизмеримост”*». В четвърти том на епопеята директно е посочена мярата на Изтока: *«За нас, с дадената ни от Христос мяра за хубаво и лошо, няма неизмеримо. И няма величие там, където ня-*

ма простота, добро и правда» (т. IV, ч. III, гл. 18). И с тази **Източна мяра, мярата на мира спасение, Христовата мяра**, се измерва всеки човешки жест и всяко «историческо» събитие. В епопеята олицетворение на Западното светоусещане е Наполеон, както Кутузов е символичният образ на Източното. Известно е, че Толстой е отричал историко-реалното съдържание в тези два образа, както и въобще разбираната в буквален смисъл «историчност» на книгата.

В този контекст «войната от 1812 година не е просто и само обикновена, конкретна война, а е повторение на мита за Войната, на Войната изобщо и по принцип; затова е резонна алюзията между мита за Троянската война и Наполеоновата; между горящата Троя и горящата Москва; между Хубавата Елена и красавицата Елен Курагина. Както е резонна и аналогията, която се прави в текста между похода на Александър Македонски и похода от 1812 година; между Наполеон Велики и Александър Велики; между скитската държава и Русия». В описанието на подготовката за Бородинския бой, когато край Москва се събира «целият народ», явно се експлицира алюзията за една последна Война, един свещен Армагедон.

От друга страна в образа на Наполеон непрекъснато се имплицират алюзии за Антихриста. «*Наполеон е оня звяр, за когото е предсказано в Апокалипсиса*», а Пиер е убеден, че нему е предназначено «*да сложи край на властта на звяра, тоест на Наполеон*» (т. III, ч. III, гл. 27). В този ракурс името на героя «Пиер» – «Петър» открива своя евангелски смисъл като «камък», фундамент на «руската» вяра, която ще победи Антихриста [Нейчев 2001: 63].

Но за отделната личност това е възможно само ако преодолее гибелното уединение чрез т. нар. «**народна идея**». След духовното изпитание на Бородинското поле, след досега с войниците, Пиер изпитва необходимост да се слее с «**общия**» **народен живот**: «*Да бъдеш войник, просто войник! Да влезеш с цялото си същество в **тоя общ живот**, да се проникнеш от онова, което ги прави такива. Но как да смъкнеш от себе си всичко излишно, дяволското, всичкото бреме на тоя външен човек?*» (т. III, ч. III, гл. 9). Както знаем, да преодолее своето егоистично уединение му помага срещата с Платон Каратаев, Толстоевото възплъщение на «колективната [«*соборная*»] руска душа».

Но според И.Есаулов, сюжетната история на Пиер Безухов не свършва с това. Пристигнал от Петербург, Пиер е радостно посрещнат от голямото семейство, в което в хармонично цяло живеят различни светове («това е последният отблясък на образа на кълбото като модел на живота»). Ала петербургският му живот и планове превръщат разговора му с Николай Ростов в ожесточен спор между близки. А в съня на Николенка

Болконски «неприятно враждебният тон» на разговора преминава във военни действия, имащи отенък на братоубийствено сражение. «По този начин отстъплението на Пиер от Каратаевското приемане на съществуващото заплашва с превръщането на вече намерения *мир* в нова *война*, при което все още потенциално, сражението заплашва да раздели на различни страни и да сблъска, да взриви вече самите *семейства*, “светове” на романа: сродилите се към финала Болконски и Ростовски клон на руския род-народ» [Есаулов 1995: 116].

Такъв е откритият финал на художествения сюжет на епопеята «Война и мир», наречена от В.Линков «християнска епопея» заради изразената в нея «християнска поезия на личното търсене, личния път към постигането на истината» [цит. по Димитров 2002: 309]. Финал на Книгата са «теоретичните» историософски и социалнополитически разсъждения на писателя. Но целите на книгата «Война и мир» (според личното признание на Толстой в едно негово писмо от 1865 г.) «са несъизмерими със социалните цели». «Целта на художника не е в това, неоспоримо да реши въпроса, а в това, да застави да се обича живота в безчислените му, никога неизтощими всички негови прояви» [цит. по ЭЛП 1998: 86]. В това може лично да се убеди както начинаещият читател на Толстой, така и всеки, който продължава с вълнение да го препрочита.

## ЛИТЕРАТУРА

Бочаров 1985 – *Бочаров С.Г.* О художественных мирах. М., 1985.

Димитров 2002 – *Димитров Л.* Лев Толстой и краят на европейския класически роман // *Руска литература. XIX и XX век.* Университетски учебник. Пловдив: Хермес, 2002.

Есаулов 1995 – *Есаулов И.А.* Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.

Маймин 1980 – *Маймин Е.А.* Лев Толстой. Путь писателя. М.: Наука, 1980.

Монахова, Малхазова 1994 – *Монахова О.П., Малхазова М.В.* Русская литература XIX века. Часть III. М.: МАРК, 1994.

Нейчев 2001 – *Нейчев Н.* «Война и мир» и «Братя Карамазови» като кулминация на руския месианизъм // «Страница». 2001. № 4.

*Хализев В.Е., Кормилов С.И.* Роман Л.Н.Толстого «Война и мир». М.: Высшая школа, 1983.

Человек 1995 – *Толстой Л.Н.* О жизни // *Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии.* XIX век. Отв. ред. И.Т.Фролов. М.: Республика, 1995.

ЭЛГ 1997 – Энциклопедия литературных героев. М.: Аграф, 1997.

ЭЛП 1998 – *Громова-Отульская Л.Д.* «Война и мир» // Энциклопедия литературных произведений. Под ред. С.В.Стаخورского. М., 1998.

## Теория перевода

*В.А.Вернигорова (Россия)*

---

---

### ОСМЫСЛЕНИЕ РЕАЛИИ В ПОДЛИННИКЕ И ПЕРЕВОДЕ<sup>1</sup>

В лингвистике и переводоведении «реалиями» принято называть слова, обозначающие предметы и понятия материальной культуры. Само слово «реалия» происходит от латинского прилагательного среднего рода множественного числа – *realis*, -e, мн. *realia* – «действительный», «вещественный», «истинный». Согласно словарным определениям, это «предмет, вещь, а также факт, социальный процесс или явление, существующие в реальной жизни» [БСЭ 1970-1977], «единичный предмет» [Ожегов 1973], «предметы или явления материальной культуры, этнонациональные особенности, обычаи и обряды, а также факты или процессы, обычно не имеющие лексических эквивалентов в других языках» [Ефремова 2006], «предмет, явление или понятие, характерное для уклада жизни, культуры того или иного народа или эпохи» [КЛЭ 1960-1966].

Таким образом, реалия, хоть и связана большей частью с художественной литературой, обладает большим сходством с термином, но в то же время может быть отнесена к безэквивалентной лексике, тогда как термины, как правило, являются переводимыми эквивалентами, то есть имеют полное языковое покрытие в языке перевода. Важной чертой реалий Г.В.Чернов называл их «общеупотребительность» и «широкое вхождение в общенародный язык». [Чернов 1958: 226-227]. Многие теоретики перевода, говоря о реалиях, дают приблизительные, неполные определения этому термину, отмечая лишь те или иные его признаки. Одни полагают, что к реалиям относятся только чужие реалии, другие толкуют реалии непомерно широко, в результате чего отсутствует четкость в терминологии, употребляемой переводчиками и теоретиками перевода, лингвистами и лингвистрановедами в отношении этого понятия. Однако совершенно ясно одно: «реалия теснейшим образом связана с внеязыковой действительностью» [Влахов, Флорин 1980: 16]. Называя предметы, понятия, явления культуры и истории какой-либо страны, реалия тем не менее не отражает

---

<sup>1</sup> Исследование осуществлено при поддержке Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ-ВШЭ).

внеязыковой фон – временной отрезок, для которого она была характерна, а ведь именно этот самый внеязыковой фон и должен быть надлежащим образом выражен в тексте перевода.

Проблема перевода реалий в целом и отражения внеязыковой действительности текста при помощи реалий в частности – одна из самых актуальных проблем в теории перевода, и ее в той или иной степени рассматривали все теоретики перевода. Одни называли реалии «локализмами» и «этнографизмами» [Финкель 1962: 112], другие употребляли в отношении реалии термин «лакуна» [Malblanc 1961], или «пробел» («когда ситуации, обычные для культуры одного народа, не наблюдаются в другой культуре» [Ревзин 1964: 184]), третьи предлагали называть безэквивалентные лексические единицы «алиенизмами» и «экзотизмами» [Берков 1973]. Известные теоретики перевода С.Влахов и С.Флорин, в свою очередь, настаивали на термине «реалия» и понимали под этим термином «слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому». По их мнению, реалии, «будучи носителями национального и/или исторического колорита, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а следовательно, не поддаются переводу “на общих основаниях”, требуя особого подхода» [Влахов, Флорин 1980: 47].

Но каковы бы ни были расхождения в терминологии, все теоретики перевода единодушно пришли к выводу, что при переводе так называемой «безэквивалентной лексики», или реалий, следует учитывать целый ряд страноведческих и культурологических аспектов и большинство таких слов нуждаются в комментариях со стороны переводчика. Более того, необходимо принять во внимание, что на основе временного критерия все реалии условно делятся на современные и исторические, то есть статус реалии не является постоянным качеством и со временем может измениться. Исторические реалии редко бывают оторваны от своего национального источника и потому, как правило, требуют более подробных толкований, чем реалии современные. Незнание переводчиком особенностей временных значений реалии приводит к искажению описываемой в тексте действительности как в восприятии самого переводчика, так и в восприятии читателя.

Пополнение лексики какого-либо языка собственными и чужими реалиями – практически непрерывный процесс, обусловленный политико-историческими событиями в мире и возникновением новых культурных течений. А в настоящее время, в эпоху Интернета и телевидения, в эпоху глобализации и всеобщей мобильности, этот процесс ускорился во много

раз. Немало чужих реалий проникает в язык и через переводы художественной литературы. И если переводчики «старой школы» старались по максимуму адаптировать чужие реалии к языку перевода, подобрать к ним эквиваленты, то современная тенденция перевода реалий заключается в их транскрибировании – то есть в условной передаче звучания и фонемной структуры слов.

Проникнув в язык, реалии либо приживаются в нем, популяризируются и утрачивают свой национальный и исторический колорит, либо исчезают без следа. Прижившиеся реалии довольно быстро становятся частью лексики языка и попадают в словари. Так называемые «модные» реалии – слова, употребляемые в контексте какой-либо субкультуры, как правило, не успевают попасть в словари, но остаются зафиксированными в художественной и публицистической литературе.

С.Влахов и С.Флорин также упоминали «эпизодические» реалии – внесловарные реалии, которые переводчики, в зависимости от требований контекста, однократно или многократно вводят в текст перевода, но которые не получают распространения, не закрепляются в языке и, следовательно, не фиксируются в словарях [Влахов, Флорин 1980: 79].

Среди теоретиков перевода бытует мнение о том, что реалия – по сути своей – непереводаема, а потому понятие перевода реалий условно. Известный чешский ученый и теоретик перевода Иржи Левый в своем исследовании «Искусство перевода» даже называл реалии «*crucis translato-gum*» – крестными муками переводческими [Левый 1974: 149]. И тем не менее «нет такого слова, которое не могло бы быть переведено на другой язык хотя бы описательно, то есть распространенным сочетанием слов данного языка» [Федоров 1983: 182].

Таким образом, основными трудностями при переводе реалий с одного языка на другой являются отсутствие в языке перевода эквивалентного слова в связи с отсутствием у носителей языка перевода эквивалентного объекта (объекта, обозначаемого реалией в исходном языке) и необходимость передать не только семантическое (предметное) значение реалии, но и ее национальный и исторический колорит.

К важным моментам, которые переводчик не должен упускать из виду, относятся такие обстоятельства перевода, как место, подача и осмысление незнакомой реалии в подлиннике. Незнакомой можно считать любую чуждую языку перевода реалию, характерную для быта того или иного народа, для той или иной исторической эпохи. Такие непонятные или малознакомые читателю слова требуют грамотной подачи в переводе. С одной стороны, задача переводчика заключается в том, чтобы передать реалию наиболее простым для читательского восприятия образом. С дру-

гой – необходимо обязательно сохранить национальный и исторический колорит слова, и в то же время не переусердствовать и не превратить реалию в экзотизм.

По мнению С.Влахова и С.Флорина, «наиболее удачным нужно считать такое введение в текст незнакомой реалии, которое обеспечило бы ее вполне естественное, непринужденное восприятие читателем без применения со стороны автора особых средств ее осмысления» [Влахов, Флорин 1980: 81]. При этом реалии, которые знакомы читателям из литературы и средств массовой информации, как правило, никаких объяснений не требуют. Это касается таких общеизвестных слов-реалий, как «коррида», «гондола», «сомbrero», «текила» и т.д. В качестве свежего примера, когда национальная реалия входит во всеобщее употребление, можно привести южноафриканское слово «вувузела», обозначающее музыкальный инструмент. Этот рожок, используемый в ЮАР во время футбольных матчей, буквально за считанные часы вошел в лексикон болельщиков и просто поклонников футбола во всем мире: и все благодаря чемпионату мира по футболу, который в 2010-м году проходил именно в Южной Африке.

Конечно, современные средства массовой коммуникации, электронные справочники и базы данных значительно облегчили жизнь как переводчикам, так и читателям. Практически любой человек сейчас, услышав незнакомое слово, имеет возможность обратиться, например, к веб-энциклопедии «Википедия» (<[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)>), открыть онлайн-словарь или просто ввести нужное слово в любую доступную поисковую систему. Однако переводчику ни в коем случае не следует ориентироваться на интернациональность реалий и уповать на электронную грамотность и «продвинутость» читателей, поэтому при столкновении в процессе перевода даже с, казалось бы, хорошо знакомой реалией необходимо тщательно проверить, существует ли такое слово в языке перевода, соответствует ли оно по значению переводимому в исходном языке и каковы его зафиксированные фонетический и графический облик в языке перевода.

Не всегда требуют объяснения и так называемые региональные реалии, обозначающие объекты и предметы, характерные для быта и культуры того или иного народа. В случае с такими реалиями переводчик вправе рассчитывать на контекстуальное осмысление реалии читателем: на то, что читатель сможет понять значение незнакомое слово благодаря контексту и никакой дополнительной комментарий со стороны переводчика не потребуются. Но здесь существует риск переоценить фоновые знания читателя. К тому же совершенно очевидно, что человек, читающий текст в подлиннике, находится в куда более выгодном положении, чем читатель перевода. Любая неточность перевода может привести к тому, что чита-

тель просто-напросто будет не в состоянии осмыслить значение незнакомого слова или же неправильно его истолкует. Именно поэтому каждый отдельный случай перевода реалии требует индивидуального и тщательно продуманного подхода: лучше снабдить реалию небольшой сноской внизу страницы, объясняющей ее содержание, чем надеяться на эрудированность и любознательность читателя. Объяснение же реалий в глоссариях в конце книги отрывает читателя от повествования, заставляет его листать книгу в поиске нужного комментария и в целом затрудняет восприятие текста.

Итак, вопрос осмысления и передачи реалий, несомненно, крайне важен для переводчика. И в случае если та или иная реалия совершенно незнакома читателю или, возможно, является новой и прежде не подвергалась переводу, переводчику необходимо будет выбрать прием передачи такой реалии в языке перевода.

Приемы передачи реалий можно свести к двум: собственно переводу и практической транскрипции. Эти два понятия, по словам известного русского лингвиста А.А.Реформатского, «могут быть друг другу противопоставлены, так как они по-разному осуществляют формулу Гердера: “Надо сохранять своеобразие чужого языка и норму родного”, а именно: 1) перевод стремится “чужое” максимально сделать “своим”; 2) транскрипция стремится сохранить “чужое” через средства “своего”. Таким образом, в плане практическом перевод и транскрипция должны рассматриваться как антиподы» [Реформатский 1972: 312].

Термин «практическая транскрипция» был введен российским лингвистом и переводчиком А.М.Сухотиным в 1935-м году и обозначает запись иноязычных имен и названий с использованием орфографических средств языка перевода, а также способ включения слов одного языка в текст другого с условным сохранением фонетического облика таких слов. Практическую транскрипцию не следует путать с фонетической транскрипцией (основанной на как можно более точной передаче звучания) и транслитерацией (определяемой только исходным написанием). В отличие от фонетической транскрипции и транслитерации, практическая транскрипция использует обычные буквы языка перевода. Иными словами, транскрипция реалии предполагает ее механическое перенесение из исходного языка в язык перевода при помощи графических средств языка перевода и с максимальным сохранением ее оригинальной фонетической формы.

Во многих случаях применение транскрипции является единственно возможным способом передачи реалии, однако не следует принимать это утверждение ни за правило, ни за рекомендацию, ведь транскрибирован-

ная, а не переведенная реалия может существенно ухудшить качество перевода и затруднить читателя.

Собственно перевод – интерпретация смысла текста на исходном языке и создание эквивалентного текста на языке перевода – применяется преимущественно в тех случаях, когда транскрипция нежелательна или невозможна. При переводе, как правило, используются следующие приемы передачи реалии: введение неологизма, приблизительный перевод и контекстуальный перевод.

Введение неологизма означает создание нового слова или словосочетания, которое позволяет сохранить содержание и колорит переводимой реалии. Такими новыми словами могут быть кальки («заимствование путем буквального перевода (обычно по частям) слова или оборота» [Ахманова 1966]; например, «небоскреб» – калька от английского слова «skyscraper») и полукальки (частичные заимствования, «состоящие частью из собственного материала, а частью из материала иноязычного слова» [Шанский 1972: 110]; русскую реалию «декабрист» англичане, к примеру, передают как «Decembrist»). Нужно заметить, что прием перевода реалий неологизмами хоть и является крайне интересным и творческим занятием, но все же наименее употребителен и в достаточной степени сложен. Самым ярким современным примером перевода реалий неологизмами можно считать переводы на различные языки английской серии книг-бестселлеров про волшебника Гарри Поттера, изобилующих реалиями-неологизмами, придуманными автором книг – писательницей Джоан Роулинг.

Приблизительный перевод реалий – наиболее часто применяемый переводчиками прием. Обычно этот прием позволяет довольно точно передать предметное содержание реалии, но национальный и исторический колорит слов почти всегда теряется. То же самое происходит и в случае контекстуального перевода: содержание реалии передается при помощи адаптированного переводчиком контекста, но сама по себе реалия исчезает. То есть у каждого из применяемых способов перевода реалий есть недостатки, и невозможно рекомендовать ни один из них как «универсальный». Следовательно, перед переводчиком стоит непростая задача – решить в каждом конкретном случае, какой именно прием передачи реалии необходимо выбрать для максимально адекватного и точного перевода. И в самом деле, что же, какое из двух «зол» следует предпочесть в том или ином случае – транскрипцию или перевод? Что позволит наиболее точно передать содержание реалии и ее колорит?.. Переводчики десятилетиями задаются этими вопросами, но однозначного ответа так и нет: слишком от многих факторов зависит выбор приема передачи реалии – от характера текста, от характера реалии, от ее значимости и значения, от языковых

возможностей и традиций исходного языка и языка перевода и, наконец, от читателя перевода, на которого ориентирован текст.

Характер оригинального текста подразумевает тот или иной жанр, и именно от жанровых особенностей литературы в этом случае будет зависеть выбор приема передачи реалии. Так, термин (реалия научного текста) должен переводиться термином, а реалии, встречающиеся в художественной и публицистической литературе, как правило, транскрибируются и часто требуют пояснения со стороны переводчика. Многие теоретики перевода считают, что транскрипция воспринимается гораздо легче в описательных и повествовательных текстах, тогда как при переводе прямой речи чаще всего следует выбрать перевод как способ передачи реалии.

Решающим фактором при выборе между транскрипцией и переводом может также являться контекстуальная значимость реалии, ее колоритность – то есть то, является ли эта реалия ярким акцентом в тексте или незначительной деталью. Переводить чужие для подлинника реалии транскрипцией значительно проще, чем транскрибировать так называемые «свои» слова. Чужая реалия выделяется из своего окружения и, как правило, тем или иным образом истолкована автором подлинника, тогда как своя реалия составляет с контекстом единое целое: она не выделяется из общего лексического окружения и, значит, не привлекает к себе внимания. Но для языка перевода такая «своя» реалия будет чужой и, следовательно, неизбежно будет выделяться в переведенном тексте. При попытке же передать такую реалию с помощью отличных от транскрипции средств перевода теряется характерная окраска такого слова – его национальный и исторический колорит. Еще одно несомненное достоинство транскрипции заключается в том, что этот прием позволяет передать реалию максимально кратко, без необходимости трансформировать контекст. Иными словами, транскрипция в большинстве случаев все же является меньшим злом, но как часто переводчики, стремясь передать колорит и выбирая транскрипцию, пренебрегают смысловым содержанием реалии! Не стоит забывать и о необходимости соблюдения меры в количестве транскрибируемых реалий в рамках одного текста: перегруженный реалиями текст тяжело воспринимается читателем.

Можно сказать, что чаще всего транскрибируются словарные, знакомые читателю реалии – то есть реалии, которые в большинстве случаев не требуют пояснения. А.В.Федоров замечал, что русские переводчики стараются «избегать транслитерированных обозначений иностранных реалий, кроме как ставших уже привычными» [Федоров 1983: 184-185]. Очень многое зависит и от языковых традиций языка перевода. В разных языках наблюдается разное отношение к иностранным заимствованиям.

Английский язык, например, достаточно легко осваивает восточные и даже славянские реалии, а немцы предпочитают переводить даже общепринятые международные термины (такие, как «телефон» («Fernsprecher») и «телевидение» («Fernsehen»)).

При выборе приема передачи реалии следует учитывать и то, на кого ориентирован переводимый текст. Совершенно очевидно, что задача автора подлинника и переводчика заключается в том, чтобы тот или иной текст был понятен и интересен читателю. Если транскрибированная реалья была непонятна читателю – коммуникативная цель перевода не достигнута. Если эта реалья передана другими средствами, в результате чего утрачен ее колорит, – коммуникативная цель перевода снова не была достигнута. Пытаясь нащупать «золотую середину», некоторые переводчики переводят реалии реалиями, забывая (или не зная) о том, что правило «термин переводится термином» неприменимо в случае с безэквивалентной лексикой. Объясняется это просто: в отличие от реалий, термины не обладают ни эмоциональной окраской, ни национальным колоритом, что позволяет им претендовать на полные языковые эквиваленты.

Ясно одно: ни один переводчик не сможет перевести реалью, опираясь лишь на теоретические знания о переводе. Для того чтобы грамотно и точно выполнить перевод той или иной реалии, необходимо обладать высокой языковой и теоретической компетенцией, опытом перевода аналогичных текстов, богатыми фоновыми и контекстуальными знаниями, способностью осмыслить незнакомую реалью в подлиннике и, наконец, литературной одаренностью и писательским мастерством. Но во многих случаях и этих знаний и навыков будет недостаточно, и только особое «переводческое чутье», «переводческий инстинкт» могут спасти ситуацию.

Перевод – это искусство, и некоторые переводчики небезосновательно полагают, что переводчиком невозможно стать – им можно только родиться. Не всякий человек, умеющий писать, может стать писателем. Точно так же не всякий человек, владеющий иностранными языками и способный передать смысл текста с одного языка на другой, может считаться переводчиком. Навык осмысления иностранного текста и грамотной передачи его на другой язык не приходит вместе со знанием иностранного языка, а диплом переводчика не гарантирует высокое качество перевода. Ошибочно и представление о том, что главное для переводчика качество – это обширный словарный запас.

Мастерство переводчика заключается в том, чтобы остаться незаметным. Чтобы у читателя не было повода раскритиковать книгу, а вместе с ней – и переводчика, по вине которого тот или иной текст был неправильно осмыслен. Владимир Набоков в своей статье «Искусство перево-

да», посвященной сложностям художественного перевода, писал: «В причудливом мире словесных превращений существует три вида грехов. Первое и самое невинное зло – очевидные ошибки, допущенные по незнанию или непониманию. Это обычная человеческая слабость – и вполне прощательная. Следующий шаг в ад делает переводчик, сознательно пропускающий те слова и абзацы, в смысл которых он не потрудился вникнуть или же те, что, по его мнению, могут показаться непонятными или неприличными смутно воображаемому читателю. Он не брезгует самым поверхностным значением слова, которое к его услугам предоставляет словарь, или жертвует ученостью ради мнимой точности: он заранее готов знать меньше автора, считая при этом, что знает больше. Третье – и самое большое – зло в цепи грехопадений настигает переводчика, когда он принимается полировать и приглаживать шедевр, гнусно приукрашивая его, подлаживаясь к вкусам и предрассудкам читателей. За это преступление надо подвергать жесточайшим пыткам, как в средние века за плагиат» [Набоков 1999: 395]. И с этим сложно не согласиться.

## ЛИТЕРАТУРА

Malblanc 1961 – *Malblanc A.* Stylistique compare du francais et de l'allemand. Paris, 1961.

Ахманова 1966 – *Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1966.

Берков 1973 – *Берков В.П.* Вопросы двуязычной лексикографии. Л.: Изд. ЛГУ, 1973.

БСЭ 1970-1977 – Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. Т. 1-26. М.: Сов. энциклопедия, 1970-1977.

Влахов, Флорин 1980 – *Влахов С., Флорин С.* Непереводимое в переводе. / Под ред. Вл. Россельса. М.: Международные отношения, 1980.

Ефремова 2006 – *Ефремова Т.Ф.* Современный толковый словарь русского языка. Т. 1-3. М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2006.

КЛЭ 1960-1966 – Краткая литературная энциклопедия. Т. 1-8. М.: Сов. энциклопедия, 1960-1966.

Левый 1974 – *Левый И.* Искусство перевода. М.: Прогресс, 1974.

Набоков 1999 – *Набоков В.В.* Искусство перевода // Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1999.

Ожегов 1973 – *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. Изд. 10-е. М.: Сов. энциклопедия, 1973.

Ревзин 1964 – *Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю.* Основы общего и машинного перевода. М.: Высшая школа, 1964.

Реформатский 1972 – *Реформатский А.А.* Перевод или транскрипция? // Восточно-славянская ономастика. М.: Наука, 1972.

Федоров 1983 – *Федоров А.В.* Основы общей теории перевода. М.: Высшая школа, 1983.

Финкель 1962 – *Финкель А.М.* Об автопереводе // Теория и критика перевода. Л.: Наука, 1962.

Чернов 1958 – *Чернов Г.В.* К вопросу о передаче безэквивалентной лексики при переводе советской публицистики на английский язык // Ученые записки 1-го МГПИИЯ, т. XVI. М., 1958.

Шанский 1972 – *Шанский Н.М.* Лексикология современного русского языка. М.: Просвещение, 1972.

## **Хроника**

### **I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «РУССКОЕ СЛОВО НА БАЛКАНАХ». Шумен (Болгария), 14-17 октября 2010 г.**

14 октября 2010 г. в 10.00 ч. в Актовом зале Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского был торжественно открыт I Международный симпозиум «Русское слово на Балканах». Организаторами этого научного форума были кафедра русского языка, теории и истории литературы Шуменского университета, Общество русистов Болгарии и Федерация дружбы с народами России и СНГ. Проведение форума стало возможным благодаря неоценимой помощи и поддержке мэрии города Шумена.

На торжественном открытии симпозиума присутствовали официальные гости: Юрий Соловьев – генеральный консул Российской Федерации в Варне, Виктор Метелкин – первый секретарь Посольства Российской Федерации в Софии и представитель Министерства образования и науки Российской Федерации в Болгарии, доц. Владислав Лесневский – представитель Русского культурно-информационного центра (РКИЦ) в Софии, Найден Косев – директор дирекции «Образование, культура и работа с молодежью» при мэрии Шумена, проректор Шуменского университета доц. Драгомир Марчев, проф. Ивелина Савова – декан факультета гуманитарных наук, проф. Д.Игнатовски – главный редактор «Энциклопедии Шумен», а также представители общественных и неправительственных организаций Болгарии.

Научный форум открыла доц. Илиана Владова, председатель Общества русистов Болгарии и вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Она отметила, что в Шумене положено начало проведению международных конференций русистов, занимающихся проблемами изучения русского языка, русской литературы и культуры в сопоставлении с лингвокультурами балканских народов. Не случайно название научного форума – «Русское слово на Балканах». Симпозиум объединил русистов из балканских стран, России, Эстонии, Украины и Казахстана. Доц. Владова обратилась к участникам симпозиума с пожеланием, чтобы такие встречи русистов стали традиционными на Балканах и проводились поочередно в различных балканских странах.

Официальные гости, присутствовавшие на форуме, сердечно поздравили русистов с этим исключительно важным научным событием.

В рамках этого форума было отмечено 75-летие профессора, доктора филологических наук Стефаны Димитровой – Доктора хонорис кауза Шуменского университета, ученого с международным признанием. Проф. Димитрова оказала огромное влияние на развитие шуменской русистики. Она была основателем кафедры русского языка в Шуменском университете и на протяжении многих лет ее руководителем, работала научным сотрудником Института общего и прикладного языкознания при БАН. В своем пленарном докладе «Русское слово в контексте общего языкознания» С.Димитрова обратилась к молодым ученым-русистам с напутствием, очертав круг нерешенных проблем, актуальных и важных для последующих научных исследований.

Работа форума проходила по секциям «Лингвистика», «Литература», «Культура», «Перевод» и «Методика преподавания русского языка». На круглом столе, посвященном проблемам балканской русистики, были определены перспективы и возможности объединения усилий русистов балканских стран и России для осуществления совместных научных исследований. После окончания симпозиума участников познакомили с культурно-историческими памятниками Шумена и Шуменской области.

Форум получил большой резонанс – кроме зарегистрированных участников (их было 81) в работу форума включились в качестве слушателей учителя русского языка средних школ из различных регионов Болгарии, а также и студенты Шуменского университета.

Известные слова гимна города Шумена «Отсюда начинается Болгария» звучат символически – именно в Шумене начинается проведение серии научных форумов «Русское слово на Балканах», которые обогатят межкультурный диалог на Балканах. Симпозиум, несомненно, имеет важное значение для города Шумена, для студентов Шуменского университета, гордящихся тем, что именно их город и их университет положили начало проведению серии научных форумов международной значимости.

*Общество русистов Болгарии*

## **МЕРОПРИЯТИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА, ПОСВЯЩЁННЫЕ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П.ЧЕХОВА**

К 150-летию со дня рождения А.П.Чехова филологический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова провёл ряд юбилейных мероприятий.

Первым и самым крупным стала *Международная научная конференция «А.П.Чехов и мировая культура: взгляд из XXI века»* (29 января – 2 февраля 2010 года). Эта конференция была организована филологическим факультетом МГУ совместно с Чеховской комиссией при Совете по истории мировой культуры Российской академии наук и Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П.Чехова (Мелихово). Заявки на участие (около 130) поступили от учёных крупнейших вузов России (из 23 городов), ближнего (Украина, Казахстан) и дальнего (Германия, Чехия, Болгария, Япония, Финляндия, Италия, Франция, Израиль, США, Польша, Южная Корея) зарубежья. В рамках конференции состоялись два пленарных заседания, работали восемь секций («Биография, мировоззрение», «Поэтика», «Шедевры чеховской прозы», «Литературные связи», «Чехов и писатели XX века», «Драматургия и театр», «Переводы и рецепция», «Язык чеховских произведений») и круглый стол («Чехов в школе»). К началу конференции был издан сборник тезисов – Чехов и мировая культура: взгляд из XXI века: Тезисы докладов международной научной конференции (Москва, 29 января – 3 февраля 2010 года) / Сост. и ред. Р.Б.Ахметшин, М.О.Горячева, В.Б.Катаев (отв. ред.). М.: Издательство Московского университета, 2010.

9 марта 2010 года кафедра истории русской литературы организовала *литературно-музыкальный вечер «Такой разный Чехов»*. Произведения Чехова читали: заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Ермоловой Ольга Фомичёва (рассказ «Красавицы», отрывки из пьес), студент 1 курса филологического факультета Матвей Сапегин (отрывок из рассказа А.Чехова «Дама с собачкой»). Романсы на стихи поэтов XIX века исполнил выпускник филологического факультета Фёдор Тарасов.

20 – 23 марта 2010 года состоялся *IV Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность»*. В рамках данного научного мероприятия был проведён семинар на тему «*Мир языка А.П.Чехова*». Здесь было представлено десять докладов участниками из шести городов. Некоторые докладчики семинара

ранее приняли участие в конференции «А.П.Чехов и мировая культура...», поэтому ряд заслушанных здесь сообщений развивал темы, поднятые ранее на юбилейной конференции: языковая личность Чехова, создание информационной аналитической системы по полному собранию сочинений писателя, проблемы ее тематической разметки, пространственно-временная организация в рассказах Чехова. В сборнике тезисов, изданном к началу конгресса – Русский язык: исторические судьбы и современность: IV Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, филологический факультет, 20 – 23 марта 2010 г.): Труды и материалы / Сост. М.Л.Ремнёва, А.А.Поликарпов. М.: Издательство Московского университета, 2010, – данный семинар вынесен в особый раздел. Более подробную информацию о конгрессе см. на сайте [www.philol.msu.ru/~rlc2010/](http://www.philol.msu.ru/~rlc2010/).

12 – 15 апреля 2010 года в МГУ состоялась *XVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»*. В рамках этой конференции был организован круглый стол «*К 150-летию А.П.Чехова: А.П.Чехов сквозь призму литературоведения и лингвистики*». Всего на этот круглый стол было подано четырнадцать заявок молодыми учёными из разных городов России. К началу конференции был издан сборник тезисов – Материалы XVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Серия «Филология» (Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, 12 – 15 апреля 2010 г.). М.: Издательство Московского университета, 2010, – в котором круглый стол по Чехову тоже вынесен в отдельный раздел (см. также его электронный вариант: [www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov\\_2010/24-25.pdf](http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2010/24-25.pdf)).

**Екатерина Суровцева**  
МГУ им. М.В.Ломоносова